

## Марк Талов 1892 - 1969

Странна и парадоксально жестока, грустная судьба поэта и переводчика Марка Талова, успевшего стать видной литературной фигурой «русского Монпарнаса» в самом

начале 20-х годов, на самой заре первой русской эмиграции.

... В декабре 1913 года он вышел из поезда на парижском Восточном вокзале без денег, без документов, без знания языка...

... Уехав в 1922 году из Парижа признанным русским и французским поэтом, за 46 лет жизни в Советском Союзе он смог опубликовать лишь одно свое стихотворение...

**Рэне Герра**



Марк ТАЛОВ

ВОСПОМИНАНИЯ

СТИХИ

ПЕРЕВОДЫ

быт парижской богемы 1913-1922

*Модильяни  
Эбютерн  
Жакоб  
Сутин  
Бальмонт  
Ремизов  
Мандельштам  
Сологуб  
Мариэттен  
Полисадов  
Эренбург  
Антонов-Овсеенко*



Марк ТАЛОВ

ВОСПОМИНАНИЯ  
СТИХИ  
ПЕРЕВОДЫ





### Макс Жакоб

Портрет Марка Талова, карандаш, 20х30.

Надпись: «С большим восхищением поэту Марку Талову,  
Макс Жакоб, его друг, 20 июля 1920 г.»

*Марк Талов*

*Воспоминания.  
Стихи. Переводы*

*Предисловие Ренэ Герра*

*Москва, МИК  
Париж, Альбатрос  
2006*

УДК 821.161.1Талов  
ББК 84(2Рос=Рус)6  
Т 16

На обложке — фрагмент литографии Я. Шапиро «Улей»  
(литография подарена М. Талову автором в 1966 г.)

**Талов М.**

Т 16      Воспоминания. Стихи. Переводы / Составление и комментарии М.А. Таловой, Т.М. Таловой, А.Д. Чулковой. — 2-е изд. — М.: МИК; Париж: Альбатрос, 2006. — 248 с.

ISBN 5-87902-100-9

Марк Талов (1892–1969) — поэт и переводчик европейской поэзии. Его молодость прошла в Париже, в среде богемы «блистательного Монпарнаса». Его друзьями стали Бальмонт, Жакоб, Сутин, Ремизов, Шюзвиль, Шаршун, Эренбург... По возвращении в Россию он сблизился с Мандельштамом, поэзию Талова высоко ценил Арсений Тарковский.

В книге представлено девять портретов М. Талова, выполненных художниками «парижской школы» — Модильяни, Эбютерн, Жакобом, Гальеном, Лагаром, Ретифом, Симонтом. Большая часть воспоминаний, стихов, переводов, рисунков публикуется впервые. Документы, фотографии, письма, дарственные надписи (в их числе Ремизова, Мережковского, Мандельштама, Ахматовой, Горького, Фора, Бретона, Сандрара) ранее не публиковались.

**УДК 821.161.1Талов**  
**ББК 84(2Рос=Рус)6**

- © Мери Александровна Талова
- © Составление, статья, комментарии —  
Мери Александровна Талова,  
Татьяна Марковна Талова,  
Анна Давыдовна Чулкова, 2005
- © Издательство «МИК», 2006
- © Издательство «Альбатрос», 2006
- © Оформление Дмитрия Манахина, 2006

ISBN 5-87902-100-9

Странна и парадоксально жестока, грустна судьба поэта и переводчика Марка Талова, успевшего стать видной литературной фигурой «русского Монпарнаса» в самом начале 20-х годов, на самой заре первой русской эмиграции.

Главные вехи его жизненного и творческого пути таковы: родился Марк Владимирович в Одессе в 1892 году. Печататься стал в 1908 году. И до отъезда из царской России успел опубликовать в газетах и журналах около 80 стихотворений. Первый сборник его стихов «Чаша вечерняя» был издан в 1912 году в Одессе. В 1913 году он был призван на военную службу, но после оскорбления, нанесенного унтер-офицером, покинул часть и в Волыни нелегально перешел границу. 7 декабря 1913 года вышел из поезда на парижском Восточном вокзале без денег и документов, без знания языка — пополнил ряды «праздношатающихся» поэтов и художников, такой же, как и он, вечно голодной богемы. И, как все они, или почти все, нашел приют в этом городе — «столице мира» для всех людей искусства и литературы. Все знают, что Париж во все времена был магнитом, неодолимо притягивающим молодые таланты со всех концов земли, и, конечно же, из России и Восточной Европы. Талов с самого начала стал завсегдатаем монпарнаских артистических кафе. Сначала это была «Ротонда», которая была его «университетом», его родным домом. Спустя какое-то время, подобно своему другу Максу Жакобу, стал ревностным католиком; его духовным наставником был Владимир Полисадов, художник, доминиканский монах третьего ордена, женатый на племяннице философа Владимира Соловьева. В 1915 году, находясь в провинции Турень, Талов уходит во францисканский монастырь. Но после двух месяцев послушничества покидает обитель и возвращается на Монпарнас. Как позднее (и не совсем точно) напишет Алексей Ремизов Андрею Белому (1922 г.): «Марк Владимирович был монахом францисканским, но пал, и теперь в нашем грешном мире».

Среди парижских друзей Талова были видные представители космополитической творческой элиты той эпохи — философы, поэты, художники: А. Модильяни, дважды рисовавший его; О. Цадкин, автор обложки и фронтисписа его первого парижского стихотворного сборника с «ницшеанским» названием «Любовь и голод»; Хаим Сутин, который с ним временами делил кров; М. Кислинг, С. Судейкин, Л. Гудиашвили, С. Шаршун, А-П. Гальен, Ж. Маритен, Б. Сандрар, М. Жакоб, Р. Гиль, Т. Тцара, И. Зданевич. Его пути пересеклись с поэтами и писателями, такими, как Поль Фор, Дмитрий Мережковский, Константин Бальмонт, Илья Эренбург...

Весной 1921 года группой молодых поэтов эстетически «левого» направления было создано в эмиграции первое русское литературное содружество со странным названием «Гатарапак». Поэт Довид Кнут, вошедший осенью 1921 года в эту литературную группу и избранный ею вице-председателем, в своих воспоминаниях «Опыт Гатарapaка», опубликованных в Израиле в 1953 году, загадочно писал: «Это странное название представляет собой аббревиатуру имен пятерых ее основателей», — хотя на самом деле известны только трое из них: А. Гингер, М. Талов, В. Парнах. Участники этого молодого творческого объединения собирались сначала в сердце Латинского квартала, недалеко от площади Сен-Мишель, в кафе «Ла болле» — присяжном месте Юрия Терапиано, Зинаиды Шаховской, Александра Бахраха. Все они увековечили эту экзотическую кофейню в своих воспоминаниях. Но довольно скоро, уже летом, все переместились в более просторное бистро «Хамелеон» (бульвар Монпарнас, дом 146).

Литератор Анатолий Юлиус оставил нам чуть ли не единственное описание этого нового места сборищ в своих воспоминаниях «О русском литературном Париже 20-х годов», опубликованных в 1966 году в канадском литературном журнале «Современник»: «Чтение стихов этого первого поэтического вечера происходило в малоуютной зале скромного «Кафе-бистро», существовавшего в 20-х годах на углу бульвара Монпарнас и улицы Кампань-премьер под вывеской «Хамелеон». Узкая входная дверь на срезанном углу дома вела в залу кофейни. Низкий потолок. Две ступеньки ниже уровня тротуара. Прямоугольные мраморные столики в стиле 1900-х годов...».

7 августа 1921 года был «первый вечер русской поэзии» нового художественного объединения «Палата поэтов», где выступали его зачинатели: А. Гингер, Г. Евангулов, В. Парнах (председатель) С. Шаршун, М. Талов, придумавший само название (хотя, если верить Кнуту, это имя группе дал Евангулов). В устройстве вечера принимали также участие Л. Гудиашвили, С. Судейкин, А. Вермель, А. Левинсон, Е. Зноско-Боровский. Собрания эти проходили сначала по воскресеньям, а впоследствии по четвергам.

Успех «Гатарапака» и его преемника — «Палаты поэтов» был огромным. 15 марта 1922 года был объявлен очередной вечер «Гатарапака», уже 35-й по счету. Собрания этих объединений служили центром притяжения для творческой русской молодежи, на которую начала обращать внимание тогдашняя критика. По мысли собравшихся в дешевых ночных кафе эмигрантских литераторов, «русский Монпарнас» с его ночными бдениями продолжал традиции прерванных революцией вечеров в знаменитых петербургских артистических подвалах — таких, как «Бродячая собака» или «Привал комедиантов». Как вспоминает Довид Кнут, «одной из колоритнейших фигур русского Монпарнаса был в те времена поэт Талов». И действительно, Талов — человек эрудированный и поэтически одаренный, начинал с блеском свою парижскую поэтическую карьеру. В 1919 году он начал переводить стихи Стефана Малларме, увлекался переводом старофранцузских поэтов; его стихи печатались в элитарных французских журналах. Его книгу стихов «Любовь и голод», изданную в Париже в 1920 году, французский поэт и критик Ж. Шюэвиль назвал «пронзительным сборником». Его вторая книга лирики «Двойное бытие» выходит в 1922 году. Обе книги были отмечены критикой, в том числе и требовательным Марком Слонимом. Собратья по перу стали относиться к М. Талову как к мэтру, «властительно дум».

Но весной 1922 года Талов, величавший себя «Менестрелем России», с самого начала испытывавший на чужбине невыносимую тоску по родине, одновременно с Валентином Парнахом решил вернуться в Россию. Он возвращался через Берлин, где познакомился с Ремизовым, Белым, Соколовым-Микитовым. В то же время Евангулов и Шаршун, как и он, собравшиеся на родину, застряли на 14 месяцев в Берлине — и как впоследствии признавался Шаршун, «к счастью». «Повинуясь инстинкту», он вернулся в Париж, где уже на закате дней стал знаменитым художником.

7 августа 1922 года Талов прибыл в Москву. Начался советский период его жизни. Во Франции Талов прожил почти десять лет, насыщенных «электричеством», выступлениями, встречами, общением с интереснейшими творческими личностями. Словом, то были самые яркие годы в его жизни. Можно только себе представить, как часто он вспоминал Францию, Париж, ночной Монпарнас на протяжении своей дальнейшей жизни в Советском Союзе, где он был просто переводчиком. За все эти годы только одноединственное стихотворение вышло в сборнике «День поэзии» 1964 года. Зато в антологиях и хрестоматиях были опубликованы больше 170 его переводов французских, итальянских, испанских, португальских и английских поэтов. Но делом всей своей жизни он считал труд воссоздания Малларме на русском языке. Благодаря стараниям его вдовы Мери Александровны и дочери Татьяны, в 1990 году было издано собрание стихотворений Стефана Малларме в переложении Марка Талова, а в 1995 году в издательстве «МИК» сборник избранных стихов поэта.

Останься Талов в Париже, он безусловно стал бы видной поэтической фигурой русского Зарубежья и «Парижской ноты», печатался бы в «Числах», ходил бы на «воскресенья» к Мережковским, посещал бы собрания «Зеленой лампы». Благодаря своему отличному знанию французского языка он мог бы играть значительную роль в попытке сближения русских писателей и философов с французскими в конце 20-х годов, когда начались «Франко-русские встречи» при участии Н. Бердяева, Б. Вышеславцева, Г. Федотова, Б. Зайцева, Н. Тэффи, М. Цветаевой, Г. Газданова, Н. Берберовой, Г. Адамовича, В. Вейдле, Б. Поплавского... а со стороны французов П. Валери, А. Мальро, Ж. Бернаноса, Г. Марселя, С. Фюме, Р. Лалу... Увы! Этого не случилось. Критик и поэт Юрий Иваск в предисловии к уже упомянутой книге воспоминаний А. Бахраха пишет: «Бахрах вспоминает незаслуженно забытых «чудаков» — Талова, Божнева, Зданевича, («Ильязда»)...».

К сожалению, как ни парадоксально это звучит, не суждено было Талову стать поэтом знаменитого «незамеченного поколения» (по меткому выражению В. Варшавского), но он не стал и советским поэтом, а лишь представителем «погубленного» поколения советских интеллигентов. Ведь между поэтами Диаспоры и советскими авторами лежало и лежит фундаментальное разли-

чие в понимании сути подлинной поэзии. Для поэтов-эмигрантов творчество было «единственным священным делом на земле», духовной исповедью, страстным стремлением к «победе над материей», к «высвобождению» из удушающего плена повседневности; тогда как в советской литературе возобладал, по мнению критика-эмигранта Г. Адамовича, «технологический», «производственный» подход к поэзии, доминирующими стали реалистичное и рационалистичное отображение социалистической действительности. Непримиимо разошлась поэзия русского зарубежья с советской поэзией тех лет. Этим и объясняется творческое одиночество Талова, оказавшегося «несозвучным» и даже чуждым новым порядкам, требованиям и карьерным устремлениям.

Уехав из Парижа в 1922 году признанным русским и французским поэтом, в Москве Талов был вынужден кормиться переводами. Но он всегда поступал согласно своим внутренним убеждениям и как поэт никому никогда не продавался, не писал верноподданнических стихов. Даже воспоминаний по-настоящему, к сожалению, он так и не смог написать в вакууме «застойных» лет: зачем? для кого? кто и когда их напечатает? Поэтому его воспоминания, собранные наконец-то в книгу, представляют собой, увы, только разрозненные фрагменты. Тем не менее их прочтут с увлечением не только специалисты и литературоведы, но все, кому интересно заглянуть в затерянный, безвозвратно ушедший мир. Благодаря редчайшим документам эпохи, чудом сохранившимся до наших дней, среди которых фотографии, инскрипты, письма, пригласительные билеты на вечера поэзии и выставки, этот волшебный мир вновь оживает перед нашим внутренним взором.

Вот почему сейчас самое время извлечь из небытия незаслуженно забытую жизненную эпопею этого странствующего рыцаря поэзии, показать его жизнь в обрамлении и контексте нашей с вами эпохи.

*Ренэ Герра,*  
Париж, декабрь 2004 г.

## ВОСПОМИНАНИЯ

*Юность на окраине Одессы. Первая книга.  
Встреча с Федором Сологубом. Переход границы*

Я родился в Одессе 1 (13) марта 1892 года в семье столяра. Всего в семье было семеро детей. Мы жили на Молдаванке в доме Базили, занимавшем целый квартал. Наша квартира находилась прямо над пороховым складом в том крыле дома, где жила преимущественно беднота, сезонники и артельщики, приезжавшие на заработки из калужских деревень. В каждую квартиру набивалось до тридцати-сорока человек, располагавшихся на нарах. Я заходил к ним. Воздух густой, хоть топор вешай. «А ну, почитай нам чего, Марко», — просили они. Я читал им Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Рабочим нравилось: «Эта книжка про нас писана...».

Воспоминания 1905 года: казаки проносятся мимо дома и стреляют в наши не занавешенные окна, целясь в меня и стоящую рядом сестру.

Как-то меня зазвал к себе на квартиру сын богатого негоцианта, жившего в том крыле здания, где обитал в основном народ чиновный или коммерческий. Мы не были знакомы, да и что общего могло быть между сыновьями негоцианта и гробовщика? Он отрекомендовался эсдеком и предложил вступить в руководимую им группу.

— Мы знаем, что ты ведешь работу среди крестьян...

Я хлопал глазами, ничего не понимая:

— Какую работу? Просто читаю им книжки.

Однако мне польстило предложение сына богатых родителей, тем более что он был старше меня, четырнадцатилетнего, на пять-шесть лет. Я стал получать от него бесчисленные нелегальные брошюрки для самообразования. 1 мая 1906 года меня позвали на массовку, а в июне попросили написать революционное стихотво-

рение (стихи я начал писать с самого детства). Не помню его содержания, помню только, что насажал множество восклицательных знаков. Стихи напечатали на листовке, вышло что-то вроде прокламации. Мне дали двести экземпляров, и я их подбрасывал незаметно, где придется.

Как-то меня попросили пожертвовать что-нибудь в пользу организации. Это привело меня в немалое смущение. Дело в том, что у меня никогда не было денег: отец выдавал мне по две копейки на школьные завтраки. Товарищи от меня ничего не требовали, но мне было стыдно смотреть им в глаза. Кончилось это тем, что я перестал посещать тайные собрания и, наконец, совсем отбился от организации. Но однажды дома за обедом я заговорил о тяжелой доле рабочих в России. Не помню, по какому поводу, но я вдруг выпалил: «Долой самодержавие!» Бросив ложку, чуть не обжегшись супом, ко мне подскочил отец и наградил меня увесистой пощечиной.

В 1904 году меня отдали в городское шестиклассное училище, откуда я ушел, не закончив четвертого класса, так как не успевал по математике и не хотел из-за этого оставаться на второй год.

Отец не придавал никакого значения тому, что я пишу стихи. Сначала он безуспешно пытался обучить меня столярному ремеслу, а потом отдал в учение к коммерсанту, торговавшему художественными открытками. Эта новая карьера продолжалась не дольше первой. Как-то, под предлогом ознакомления с моим почерком, хозяин подсунул мне чистый лист бумаги и попросил расписаться. Вечером я рассказал об этом отцу, и он заподозрил что-то неладное. Он сейчас же отправился со мной к моему «благодетелю». «Чистый лист» оказался незаполненным векселем. Отец заставил хозяина разорвать вексель в нашем присутствии. Понятно, что после такого упражнения в чистописании с моей новой карьерой было покончено.

Третья попытка окончилась так же безрезультатно. Я поступил на службу к киоскеру. Еще не светало, а я уже был на ногах, околавившись среди подростков во дворах типографий, где печатались местные газеты. Мы дожидались момента, когда нас нагрузят тюками, свежепашущими типографской краской. С этим грузом я приходил к поджидавшему меня хозяину. Тут же он мне передавал сотню газет, которые я продавал на углу Канатной и Пушкинской

улиц. После одиннадцати часов я сидел в киоске и, пользуясь частым отсутствием хозяина, много читал и даже писал стихи.

Как-то мне в руки попала новая газета «Студенческий голос». Она показалась мне очень интересной, потому что была преимущественно литературной. Я переписывал из нее понравившиеся стихи и прозу. В свободное время отправился в редакцию этой газеты, познакомился с редактором — студентом Сергеем Васильевичем Коханским, автором замечательных стихотворений в прозе. Он стал моим первым читателем, критиком, литературным наставником. Слушая мои стихи, Коханский обнадеживал: размер выдержан, рифмы правильные, но не спешил меня печатать.

На фоне окружавшей меня действительности вся атмосфера «Студенческого голоса» — культурная и чуткая до остроты — произвела не меня неотразимое впечатление. Там я завел первые литературные знакомства. В 1908 году друзья привели меня в семью Столляров, где устраивались музыкальные вечера. Там впервые я услышал Гайдна, Беллини, Мендельсона; там знакомился с литературными новинками, читал свои стихи. Начал знакомиться с живописью, в том числе с новейшей — знал уже Бурлюка, Кандинского...

Осенью 1908 года в газете «Театральный листок» впервые было опубликовано мое стихотворение — литературная пародия на К. Бальмонта. В этом же году появились мои стихи в журнале «Волна». В 1910-м из Петербурга в Одессу приехал известный критик Петр Пильский — высокий стройный мужчина с военной выправкой. Он блистал умом, был остроумен, хотя манерой разговора напоминал Хлестакова. Он любил одесскую литературную молодежь. Ему мы передавали рукописи, и, если Пильский находил их интересными, он посылал их в газеты и журналы. Я часто бывал у него, читал стихи, Пильский передавал мне издания, в которых были напечатаны мои стихотворения. Это были газеты юга России — «Одесские новости», «Одесский листок», «Голос Крыма», «Приднепровский край», «Придунайский край», «Терек» и др.\*

Своим увлечением я нанес удар по замыслам отца, стремившегося сделать из меня «человека». Я ушел из киоска. Однако гоно-

---

\* С 1908 по 1913 г. в газетах юга России и в Петербурге было опубликовано около восьмидесяти стихотворений М. Талова.

раров мне не платили, надо было на что-то жить. Положение спасло место корректора в редакции «Одесского листка». Когда я сказал дома, что поступил на работу и буду получать целых 30 рублей в месяц, отец и мать ликовали. Больше отец не настаивал на своих планах и предоставил событиям идти своим чередом.

Первая книжка моих стихов вышла в Одессе в 1912 году. Называлась она «Чаша вечерняя». Затем я начал печататься в петербургском журнале «Весна», издававшемся Н. Г. Шебуевым, и в альманахе под тем же названием.

В начале 1913 года в Одессу приехал Федор Сологуб. Прибыл для того, чтобы прочитать лекцию о творчестве Игоря Северянина, начинавшего в ту пору входить в моду. Я отправился к нему в гостиницу «Лондонская»\*. В руке у меня — книжка моих стихов, в кармане — ненапечатанное еще стихотворение, на которое я возлагаю особенные надежды. Я вошел в номер и опешил. И этот лысый человек с холодным взглядом, бородавкой на щеке, насупленными бровями и брюшком, неужели это и есть тот самый Сологуб, стихотворения которого так очаровывали мой слух своей несказанной напевностью?! Он был скорее похож на строгого директора гимназии.

Федор Кузьмич начал перелистывать мой сборничек. Казалось, он и не читал, а только просматривал стихи, но тут же вслух подвергал тонкому критическому анализу каждую строку в отдельности от стихотворения к стихотворению, придираясь буквально к каждому знаку препинания. Постепенно от всей моей книжки он не оставил камня на камне. Я был уничтожен. Когда мне уже начало казаться, что все потеряно, он остановился на стихотворении «Смерть Азы» и совсем для меня неожиданно, красиво модулируя свой голос, очень напевно продекламировал:

Я выдумал тебя, когда меня душила  
Безвольная тоска.  
Она ко мне безмолвно приходила  
Издалека...

и т. д.

---

\* Подробно эта встреча описана в новелле «Из печки» (Марк Талов «Избранные стихи», М., «МИК», 1995 г.).

То, что сам Федор Сологуб, поэт столь мощного лирического дыхания, с таким воодушевлением прочитал мое стихотворение, привело меня в мальчишеский восторг. Я протянул ему свое последнее стихотворение «Стансы».

— Вот эти два — «Смерть Азы» и «Стансы» очень музыкальны.

— Значит, они вам нравятся?

Сологуб поморщился:

— Нравиться — не нравятся, да только музыкальные! Вы задумывались, зачем пишете стихи?

— Чтобы выразить мои переживания.

— Неужели вы думаете, что кому-нибудь они интересны? Переживания ваши никому не нужны. И запомните: раз вы считаете себя поэтом, то должны уяснить, что художественное слово — самый неподатливый материал. Редко, когда художественное произведение является не из печки...

И Федор Кузьмич рассказал мне, что Карамзин шесть раз писал заново «Бедную Лизу», а прочитав, бросал рукопись в печку. И только в седьмой раз решил: «Хороша вышла. Из печки».

А затем я услышал: «Основной недостаток вашего стихосложения в том, что вы позволяете рифме уводить себя в сторону от самой сути. Между тем, рифма должна ограничить замысел. Вот вам совет: сперва попытайтесь изложить со всевозможной точностью то, о чем собираетесь писать, а затем, точно следуя этому плану, не поддаваясь дурным тенденциям рифмы, строго вкладывайте в стихотворение предначертанное в плане. Не жертвуйте содержанием ради эффектной рифмы. Надо научиться трудному ремеслу — все время обуздывать Пегаса. То, что создается вдохновением, должно пройти через горнило ума. Если вы этому научитесь, из вас, возможно, что-нибудь выйдет».

По существу, Сологуб предлагал рецепт, на языке нашего времени называемый подстрочником. Но не переводимого произведения, оригинального — подстрочника собственных мыслей.

На этом мы с Сологубом расстались. Я чувствовал себя подавленным, года полтора не прикасался к тетради: только обмакну перо в чернила, как передо мною возникает сердитая бородавка на левой щеке. Эта единственная наша встреча оставила глубокий след в моей последующей жизни. С течением времени я все сильнее чувствовал правоту Сологуба.

В 1913 году мне исполнился 21 год — пора призыва в армию. Служить в царской армии у меня не было никакого желания. Я понимал, что придется отказаться от сознания собственного достоинства, стать бессловесной тварью, молча проглатывать оскорбления. С отвращением думал я о муштровке, о грубости фельдфебелей и унтер-офицеров. Я не мог привыкнуть к мысли, что придется бросить любимые книги, свои стихи.

Один из сотрудников «Одесского листка», зная, что мне предстоит призываться в Бельцах, дал мне письмо к знакомому военному врачу. Я не полагался только на этот выход. Когда до призыва оставалось всего два месяца, я поделился своими тревогами с другом, студентом-медиком С. М. Корсунским и его женой: «Вместо того, чтобы так глупо убить свои лучшие годы, я поехал бы куда-нибудь за границу...».

Корсунские приняли необыкновенное участие в моей судьбе. Анна Иоановна, как оказалось, некоторое время жила в Париже. Она говорила об этом так увлекательно, что я тут же решил уехать и именно в Париж. Но как это сделать? У меня нет никаких бумаг. Только безрассудная молодость способна найти выход из самого неприятного положения. «Я дам вам свой паспорт. Вы его как следует проштудируете. Прошу об одном: как только прибудете в Париж, отошлите мне его заказным письмом». Корсунский тут же передал мне паспорт, а его жена назвала фамилию своей знакомой, студентки Сорбонны, но адрес ее вспомнить не смогла, назвала только бульвар Пор-Руаяль. «Да там в эмиграции все прекрасно знают друг друга. Зайдете в русскую библиотеку или столовую, и вам, несомненно, сообщат ее адрес. Она вас устроит».

Теперь при каждой встрече с друзьями и знакомыми на улицах Одессы в разговорах я неизменно клонил к парижской теме. Случайно встретив композитора Мельмейстера, я тотчас сообщил ему, что собираюсь в Париж. Неожиданно Мельмейстер объявил мне, что он осенью едет туда же и может дать мне адрес, по которому жил там у знакомого студента два года назад. Удивительное дело! С Мельмейстером мы были знакомы года полтора, часто встречались, некоторые мои стихи он даже переложил на музыку, но до сих пор я не знал, что он бывал в Париже! Я записал адрес: месье Горбачев, бульвар Пор-Руаяль, 88. Тот же бульвар Пор-Руаяль, который назвала несколько дней назад жена Корсунского! Я пове-

селел. Теперь будущее не представлялось мне исключительно в мрачном свете. Конечно, было бы еще лучше, если бы в Париже жил сейчас мой товарищ поэт Семен Астров, который уехал туда еще в 1911 году, но последнее письмо от него я получил из Италии. Он писал, что в Париже ему жилось очень плохо, что он списался с Максимом Горьким, отправил ему свои стихи. Горький, по его словам, вызвал его к себе, выслал деньги на дорогу.

Через родственников и знакомых я заручился двумя письмами в Каменец-Подольск к людям, которые помогут перейти границу. Однако все попытки избежать призыва в армию не удались. Я еду в Бельцы, где меня и призывают. Начинаются учения. Холод, грязь, грубость фельдфебеля. Во время одного из учений унтер-офицер дал мне пощечину за то, что я не слышал его команды, задумался о чем-то своем. Присяги я еще не давал, и я решаю окончательно: служить не буду, уеду. Понимаю, что денег для поездки у меня мало, однако в тот же вечер, боясь быть узнанным, дрожа, шарахаясь от жандармов, пробираюсь на вокзал, покупаю билет в Каменец-Подольск.

В городе нахожу человека, к которому у меня письмо.

— Деньги у вас есть?

— Пятьдесят два рубля!

— Хорошо, переход через границу стоит 20 рублей, но сейчас идти нельзя. Поживите пока у меня.

Через 3 дня отправляемся в путь. Он впереди, я за ним на некотором расстоянии. За городом он передает меня другим проводникам. Идем ночью через волынские леса, месим грязь. Жуть, холод. При переходе по бревну через реку я оступился, упал в воду, промок насквозь. К трем часам ночи в одном пункте нас собралось человек пятнадцать. Проводники оставляют нас посреди поля и уходят, чтобы узнать, кто дежурит на границе. Возвращаются часа через два и сообщают, что сейчас идти нельзя — нет «нашего» человека. Я замерз, дрожу всем телом. Наконец часов в 6 утра пускаемся в дорогу. Подходим к границе, часовой поворачивается к нам спиной. Мы переходим границу через речку Збруч. За рубль проводник переносит меня на спине, но от нетерпения, не дождавшись берега, я спрыгиваю и опять оказываюсь в воде. Зубы стучат, но я кричу от радости.

В первой же хате нас накормили, дали обогреться, а потом на телеге переправили в австрийский пограничный город Скалат.

На радостях я зашел в корчму, и тут же рядом со мной появился худой невзрачный человечек. Я угощал его пивом. Оказался он шпи-ком, следовал за мной по городу, как тень и, наконец, отвел меня к комиссару полиции. Начался допрос. Я знал, что военнообязанных возвращают в Россию. Чтобы доказать, что я политэмигрант, показываю рекомендательные письма в Париж. Комиссар с иронией и недоверием: «По паспорту вы Корсунский, но почему же в письмах вас называют Таловым?». Я отвечаю, что я поэт, пишу под псевдонимом Талов. Комиссар спросил, где я печатался. Называю. Он долго проверяет по картотеке. Убеждается, что есть такой поэт — М. Талов. Тогда комиссар решил получить от меня кое-какие сведения, попросил рассказать ему об экономическом положении России. На это я дерзко предлагаю ему описать мне сначала экономические положения Австро-Венгрии. Тут комиссар рассмеялся, поставил печать мне в паспорт и разрешил следовать дальше.

Приехав в Париж, я сразу же отправил Корсунскому его паспорт. Потом я понял, что это было ошибкой — я остался без всяких документов. Корсунский же говорил мне со смехом, когда через много лет мы вновь встретились в России: «Для чего мне был документ с печатью Австро-Венгерской жандармерии?! Я заявил в полицию, что потерял паспорт, и через 10 дней получил новый».

Тот же агент, что привел меня в полицию, взял у меня деньги, купил билет в Вену и проводил до поезда. В Вене я провел два дня. Наконец денег осталось только на билет до Парижа.

*Приезд в Париж. Неожиданная встреча.  
«Теофраст Ренодо». У Оскара Лецинского.  
Литературно-художественный кружок*

В парижский поезд я сел без копейки денег, голодный, грязный, не зная ни слова по-французски. Твердой цели у меня не было, никаких планов на будущее не строил, чувствовал себя перышком, унесенным ветром неизвестно куда и зачем. Все надежды я возлагал на рекомендательное письмо редактора «Одесских новостей» к парижскому корреспонденту этой газеты Теофрасту Ренодо (Дмитриеву), тому самому, который в 1932 году покончил с собой, так как счел позором, что русский эмигрант Горгулов убил президента Французской республики Поля Думера.

В столицу Франции я прибыл холодным вечером 24 ноября (7 декабря) 1913 года. Очутившись один на огромном, шумном, залитом огнями Восточном вокзале Парижа, я растерялся, сжался в комок. Куда пойти? Где хотя бы переночевать? Если бы даже и нашелся сердобольный человек, готовый помочь, я не сумел бы ничего ему объяснить...

Удрученный этими мыслями, я не сразу заметил, что мне усиленно машет платочком белокурая девушка. Рядом с ней — высокий мужчина. Неуверенно подошел, терять все равно нечего. И вдруг она обратилась ко мне по-русски, удивилась, что я ее не узнал. Девушка напомнила мне, что лет восемь назад она, моя дальняя родственница, целое лето жила у нас в Одессе, приезжала лечиться на лиманах. Летом родительский дом никогда не пустовал: семья славилась гостеприимством, останавливались родственники и знакомые, денег с них мои родители никогда не брали. По молодости я ее, конечно, не запомнил, но сейчас сделал вид, что все вспоминаю. Оказалось, что она вместе с кузеном встречает брата, который должен был приехать этим поездом из России. Брат не приехал, вместо него прибыл я. На вопрос Нади (так звали девушку), где я собираюсь остановиться, я ответил, что нахожусь в том же положении, в каком была она, приехав в Одессу. «Тогда вы остановитесь у нас», — пригласила меня Надя. Я не мог мечтать ни о чем лучшем!

Представьте себе наивного юношу из провинциального города царской России, внезапно попавшего в огромную блистательную столицу мира, в город-спрут Париж. Все время своей поездки я мечтал, что как только приеду в Париж, сразу пойду в Лувр. Но было уже 10 часов вечера, музей, конечно, был закрыт: «Лувр вам еще надоест, — смеялась Надя, — лучше я провожу вас завтра по тому адресу, куда у вас есть письмо». И мы спустились на станцию метро «Восточный вокзал». Я был изумлен, мне казалось, что я попал в фантастическую сказку из «Тысячи и одной ночи». Ведь в 1913 году не только провинциал, но и житель Санкт-Петербурга или Москвы не мог себе представить, что в подземелье вместо кромешной тьмы тебя окружают сияющие огнями залы, что под землей кипит жизнь, движутся лестницы!

Мы вышли из метро где-то на окраине Парижа, название улицы я не разобрал из-за темноты да и незнания языка. Меня

накормили, дали постель. Утром после завтрака, получив на расходы 50 сантимов, я вместе с Надей отправился на другой конец города к Дмитриеву. Найдя нужный дом и квартиру, Надя позвонила в дверь и спустилась вниз, чтобы там подождать меня.

Дмитриев появился где-то через час. Прочитав письмо, он воскликнул: «Почему они считают возможным направлять именно ко мне всех приезжающих из Одессы?» Я было собрался уйти, ведь у меня уже было пристанище. От двадцати франков, предложенных мне на первое время, я тоже отказался. «Мне нужна работа», — твердил я. Наконец, Дмитриев предложил мне место реви-зионного корректора в своей еженедельной газете «Парижский вестник». Конечно, я согласился, и уже как коллега был приглашен к обеду. Тут я сказал, что меня ждут внизу. «Неужели вы думаете, что парижанка будет вас столько времени ждать на улице?» — изумился Дмитриев. Действительно, Нади внизу не оказалось. За 10 лет моего пребывания в Париже, я так и не видел больше этой девушки, ведь ее адреса я не знал. На вешалке в ее доме осталось мое замызганное грязью пальто.

Дмитриев помог мне снять номер в дешевом рабочем отеле, однако положенного жалованья мне на жизнь явно не хватало, и я решил разыскать студента Бориса Горбачева, адрес которого дал мне в Одессе композитор Мельмейстер. В тот же вечер, а было это на третий день по приезде в Париж, я познакомился у Горбачева с поэтом и художником Оскаром Лещинским. У Горбачева собралась компания русских студентов Сорбонны. По их просьбе я прочел свои стихи. Оскар не только вызвался рекомендовать меня в члены парижского Литературно-художественного кружка, но и предложил поселиться в своем ателье. Я тут же перебрался к нему. Встретила меня его жена, художница Лидия Николаевна Мамлина<sup>1</sup>. Здесь я наконец скинул с себя сорочку, кишашую вшами. Оскар дал мне свою чистую. Со времени отъезда из России я ни разу не сменил белья. У меня ведь ничего с собою не было, ехал я, не имея даже узелка или чемодана.

Прожил я у Оскара недолго. Приближался конец декабря — последний срок оплаты квартиры, в которой Оскар жил с женой и маленьким сыном, зарабатывая на жизнь семьи вышиванием подушек. В те времена домовладельцы в Париже взымали со съем-

щиков плату за жилье сразу за три месяца, причем платить можно было не вперед, а в конце срока. Как и многие эмигранты, Лещинский этим пользовался и удирал, не дожидаясь конца триместра. Я помогал Оскару по ночам тайком переносить вещи в другую квартиру. Новое жилье Лещинских было совсем маленьким, и скоро я остался без пристанища.

Но пока я жил у Оскара. Стол его был завален гранками книги его стихов «Серебряный пепел», второго номера журнала «Гелиос». Кроме того, готовились к печати книги П. Чичканова «О творчестве Ходлера» и Эренбурга «Поэты Франции», книга стихов В. Немирова «Вечерний сад», дебют Веры Инбер — книга «Печальное вино». Все эти издания финансировал Валентин Немиров, проживавший одно за другим «наследство всех своих родных». Здесь я впервые услышал имя Ильи Эренбурга, склонявшееся у Лещинских во всех падежах.

Литературно-художественный кружок, куда меня в ближайшую субботу привел Лещинский, собирался раз в неделю в кафе на авеню d'Orléans, 2. В том же кафе по другим дням встречались русские политэмигранты. Часто бывал там Ленин, когда жил в Париже. Его я не видел, это было до моего приезда, знаю об этом только со слов. Бывали здесь Луначарский, Алексинский, Виктор Чернов, Антонов-Овсеенко и др. Собирались они вместе, спорили. Непримиримого расслоения среди политэмигрантов тогда еще не было.

Я выступил со своими стихами и тут же был принят в члены кружка. Помню, в этот вечер были здесь поэты и художники: Елизавета Полонская, Валентин Немиров, Кирилл Волгин, Михаил Герасимов, Николай Ангарский, Оскар и Марк Лещинские, Иннокентий Жуков. Позднее я встречал здесь Семена Астрова, Николая Оцупа, Андрея Соболя, Виктора Чернова, поэтов Таслицкого, Бравского, Марию Шкапскую, Пржездзецкого, критика Вешнева. Участвовал в диспутах и Анатолий Луначарский. Я регулярно бывал здесь на литературных вечерах, читал свои стихи<sup>2</sup>. Мы собирались издать сборник участников Литературно-художественного кружка, но началась война, кружок распался. Многие были мобилизованы, другие уехали из Парижа.

А в первый мой вечер в кружке, по окончании выступлений, мы всей гурьбой отправились в «Ротонду».

*«Ротонда» и ее завсегдатаи. Ностальгия.*

*Знакомство с Ильей Эренбургом. Константин Бальмонт*

Впервые ступив на порог «Ротонды» всего через две недели после приезда в Париж, я был околдован ее феерическим видом, опьянен шумом, спорами, свободно выражаемыми суждениями. За каждым столиком сидели «звезды», окруженные своими почитателями и последователями. К потолку вместе с парами алкоголя и кольцами сигарного дыма восходил гул мужских и женских голосов, певших модную тогда мюнхенскую песенку «О, Сусанна». Я никого еще не знал по имени, кроме Пабло Пикассо, на которого мне указали. Впервые я увидел здесь Эренбурга, о нем я был уже достаточно наслышан. Худой, высокий. Шляпа на нем такая, будто он мыл ею пол. Похож на Рембо. Он курил трубку, что-то весело изрекал...

С тех пор все свободное время, а его было больше, чем достаточно, я проводил в «Ротонде», ходил туда каждый день. Она приковала меня к себе, стала моим домом, как и для многих поэтов и художников. У меня появились здесь друзья, угощавшие меня, голодного, чашечкой кофе, а чаще абсентом, от которого я с ног валился. Сначала это была группа скульпторов — Инденбаум, Чайков, Мещанинов. Меня зазывали за другие столики, расспрашивали о России. Однажды меня поманил к своему столу какой-то буржуазного облика безукоризненно одетый человек. Угощал меня, начал о чем-то расспрашивать. Иностранец, а я кроме русского, никакого языка не знаю. А потом меня осаждали вопросами: «Что вам говорил Томас Манн?» — «Да я и не понял его... Это был Томас Манн?»

Что же собой представляла «Ротонда»? Кафе, расположенное на углу бульваров Монпарнас и Распай, состояло из двух отделений. Одна часть во всю длину занята оцинкованной стойкой, парижане называли ее просто «цинком»: «Выпить у цинка», «Занять столик у цинка». Стоишь у «цинка», и перед тобою играет переплеск на темно-зеленых бутылках самой разной формы. В них аперитивы, крепкие напитки. На левом краю «цинка» на фоне высокого никелевого самовара, в котором почти целые сутки варился кофе, выделялась стройная фигура женщины бальзаковского возраста — жены владельца «Ротонды» — мадам Либион, сидев-

шей за кассой. Перегородка из богемского стекла отделяла «цинк» от основного зала: в стены инкрустированы зеркала, вдоль стен во всю длину — удобные, мягкие, обитые кожей сиденья; мраморные, с розовыми прожилками столешницы на треногах. Три, иногда четыре гарсона, обслуживают клиентов. Высокий, сутулый, густобровый брюнет Антуан. Пышные усы по-гальски свисают тонкими концами почти до подбородка. Добродушный крестьянин, умеющий ладить даже с самыми безденежными клиентами. В противоположность ему, Гастон не лишен элегантности. Тонкие черты лица. Весьма холоден с теми, кто не пользуется кредитом владельца кафе месье Либиона. Мишель — коренастый полный человек, расторопный и живой. К делу подходит практически. Если у тебя в кармане несколько су и ты можешь заказать себе лишь чашечку кофе, а собираешься просидеть здесь целый вечер, за столик Мишеля лучше не садиться. Если Гастон при этом только скривит недовольно физиономию, то Мишель бесцеремонно несколько раз даст тебе понять, что пора и честь знать. И, наконец, сам владеец кафе — седой рослый человек лет шестидесяти, плотная представительная фигура, слегка прихрамывает, держится бодро. Это форменный ментор, буржуа, душа и меценат своей многочисленной клиентуры, сплошь состоящей из прекрасных натурщиц, поэтов, художников и скульпторов вольных академий Шеврезской улицы, людей разных языков и состояний, которых судьба привела сюда с разных концов земного шара.

«Ротонда» не была похожа ни на какое другое кафе. В ней собиралась художественная богема, которая творила, голодая и пьянствуя, а когда деньги истощались, на помощь приходил сам хозяин кафе Либион, друг художников, который не забывал и своих интересов. Под залог картин он давал художникам деньги, чтобы они могли продолжать кутеж в его же кафе: «На, возьми, но смотри, сукин сын, пропей их у меня в кабаке!» Обыкновенно залог оставался в собственности Либиона. Он оказался вскоре владельцем обширной коллекции картин, которые перепродавал заживавшим в кафе собирателям, в том числе богатым иностранцам. Богемствующие художники превращались позднее в мэтров, работы которых, к сожалению, часто уже после их смерти, продавались за сотни тысяч долларов.

Тем не менее Либион не был похож на других хозяев. В трудную минуту он поддерживал художников. Они могли в кафе не

только выпить (как бывало обычно), но и поест. Среди посетителей «Ротонды» было много бездомных, проводивших ночи «под звездочками», как любил говорить А. Куприн, тоже живший в те годы в Париже. Бездомные ночевали под мостами, в Тюильрийском парке или даже в воровских притонах, которых было множество в рядах Центрального рынка, знаменитого «Чрева Парижа». Либион разрешал подававшим надежды бездомным художникам ночевать в креслах своего кафе при условии, что они будут вести себя чинно, не производя никакого шума, не устраивая скандалов. Предоставление ночлега в кафе шло вразрез с существовавшими правилами, грозило штрафами и иными непредвиденными неприятностями. «Бездомники», получавшие возможность совершенно безвозмездно соснуть три-четыре часа, никем нетревожимыми и незамеченными, этот договор не нарушали. Какие бы скандалы не происходили в кафе днем, Либион никогда не звал полицию, чем еще больше привлекал богему — людей часто без прав, без бумаг, каким был и я. Там, в «Ротонде», мы были, как у Христа за пазухой. И. Эренбург рассказывал мне, что на похоронах Либиона было очень много художников. Они любили его, и он любил их.

«Ротонда» была пристанищем не только непризнанных и полупризнанных поэтов, художников, композиторов, но и людей с известными именами, настоящих «звезд» в мире искусства.

Здесь засиживались такие мастера, как Поль Синьяк, Шарль Герен, Анри Матисс, Марке, Вламинк. Художники парижской школы — Модильяни, Сутин, Кислинг, Малевич, Кирилл Зданевич; молодые тогда скульпторы Архипенко, Цадкин, Липшиц, Мещанинов и такие мастера, как Бурдель, Майоль, Шарль Ленуар. Там бывали поэты почти всех направлений, среди них группа новых властителей умов, модных поэтов во главе с Гийомом Аполлинером — Макс Жакоб, Блез Сандрар, Андре Сальмон, принц поэтов Поль Фор. Уже в Москве Анна Андреевна Ахматова рассказывала мне, что бывала в «Ротонде» в 1910 году, а потом в 1911 году. Частыми гостями «Ротонды» были и композиторы — Равель, Венсан д'Энди, Эрик Сати, Пуленк... Математик Виктор Розенблюм, философ Маритен. Захаживал Анатолий Франс. «Ротонда» была местом встреч художников всех континентов: индус Хари, японец Фужита, индеец, украшенный перьями, подобно героям Майн Рида; мек-

сиканец Ривера, испанец Пикассо, чилиец Ортис де Сарате, португалец Мальбюсон...

Среди веселой, нищей и расточительной богемы были и разочарованные миллионеры, художники-дилетанты, художники и меценаты «от нечего делать». Таким был Лев Гукасов, обрусевший армянин, соривший направо и налево деньгами, которые он получал от собственных нефтяных разработок. Безукоризненно одетый, в смокинге, внешне неприятный, маленького роста, с лицом, изрытым какой-то болезнью, он внушал чувство омерзения. Однако художники и поэты, почуяв денежный мешок, облепляли его, как мухи мед<sup>3</sup>.

Вольность, царившая здесь, непринужденность атмосферы, дух содружества влекли сюда разных представителей русской политической эмиграции. Здесь можно было встретить и Антонова-Овсеевского, и Чернова, и Савинкова, и Троцкого. Бывал там Ленин (до моего приезда). Побывал в «Ротонде» даже брат Николая Второго — Михаил. Этой смесью того, что обычно не сходится, смесью противоположностей, «Ротонда» и была замечательна.

А с чего все начиналось? Об этом мне рассказывал скульптор Павел Вертепов, погибший на Марне в самом начале войны. Вначале у Либиона было только одно небольшое помещение. Входя с улицы, подходили к цинковой стойке, пили и закусывали. Но Либион предпринял ловкий ход. Он зазвал к себе натурщиц, позировавших в соседних вольных академиях, и попросил их приводить с собой в бар художников. За это обещал натурщицам бесплатно их кормить. Так здесь появились художники. Постепенно клиентура увеличивалась, бар превратился в место сбора богемы. Становилось тесно, и Либион пристроил веранду-беседку, обзавелся инвентарем, плетеными креслами, еще полдюжиной столиков, нанял гарсона и повесил яркую вывеску «A la Rotonde». Вскоре и здесь стало тесно, часть клиентов переместилась в «Дом», кафе, расположенное напротив. Тогда Либион дал отступного хозяину мясной лавки, которая примыкала к кафе со стороны бульвара Монпарнас, и переоборудовал ее в основной зал. Эта перестройка произошла за полтора-два года до моего приезда.

Валом повалили в кафе художники и поэты, за ними потянулись клиенты побогаче, привлеченные экстравагантным видом художественной богемы, собиратели, скупщики картин.

Сначала я с любопытством дикаря внимал рассказам старожилов, приглядывался к окружающему, вспоминал недавнее прошлое, когда в каждом встречном жандарме видел своего преследователя, нелегально переходил границу. Все здесь походило на беззаботность нищих принцев. Жизнь казалась сплошным праздником. Но вскоре я сильно запил. Началась безумная ностальгия. День мой в «Ротонде» начинался с неизменного бокала абсента. Я бормотал что-то невразумительное, читал пьяным голосом стихи и обливался слезами. Меня слушали и задавали один и тот же вопрос: «Зачем вы бежали из России? Думали ли вы, что ждет вас в Париже? Эх, дядя Талов!».

Однажды художник Грановский, тоже одессит, подвел меня к столику, за которым сидел И. Эренбург, окруженный группой почитателей. Там были Осип Цадкин, Кислинг, жена Ильи Григорьевича Катя\*, художники, поэты. Я еще никого из них не знал. Я еле держался на ногах от выпитого. Кто-то усадил меня напротив Эренбурга, а он попросил меня прочесть свои стихи. Я читал первое, написанное мною по приезде:

Здесь я постиг всю горечь одиночества,  
Здесь муки начинаются мои.  
Нет у меня ни имени, ни отчества,  
Ни Родины, ни счастья, ни семьи.

Язык заплетался, я плакал. Не знаю, как дочитал до конца. Эренбург проникся ко мне участием: «Есть ли у вас родные, откуда вы?» Я что-то рассказывал. Так состоялось наше знакомство<sup>4</sup>.

Позднее мы встречались в «Ротонде» изо дня в день, обменивались замыслами, неоднократно вместе выступали со своими стихами, поклоняясь той Деве, о которой так хорошо сказано в оде Джона Китса:

А третья — та, которую во гневе  
Всегда бранят — была любима мной:  
Поэзия! То — демон мой жестокий.

---

\* Екатерина Оттовна Шмидт

Эренбург держал себя тогда очень независимо. О нем много говорили. Интересным поэтом его считал Н. Минский. Его почитателями и последователями были братья Лещинские — Оскар и Марк, хотя многие участники Литературно-художественного кружка его высмеивали. Видимо, потому, что в это время он уже не интересовался этим кружком, не посещал его.

В «Ротонде» я познакомился с Паоло Яшвили. Он только что окончил гимназию, приехал в Париж изучать искусство. Помню сочиненный при мне его экспромт:

Тянется в «Ротонде» время  
Медленно, мой дорогой.  
Хоть за чашкой кофе-крема  
Дай убьем его с тобой!

Яшвили помогал К. Бальмонту переводить «Витязя в тигровой шкуре», а потому часто бывал у него. Он привел меня к Бальмонту в феврале 1914 года. Меня и бывшего уже там Илью Эренбурга усадили за особый «детский» столик вместе с дочкой Бальмонта — Ниникой, а за длинным, ярко освещенным столом восседали Константин Дмитриевич с Екатериной Алексеевной\* и их гости. В тот вечер кроме Яшвили здесь были переводчик Биншток, скульптор Виттих, поэт Балтрушайтис... Константин Дмитриевич попросил меня прочесть стихи. Я вышел из-за стола, отступил на два шага и сел на печку, с которой мгновенно встал, обжегшись<sup>5</sup>.

В тот вечер я прочитал свою поэму «Весенняя прогулка». Гости ее хвалили, а Бальмонту понравились своей строго классической формой мои сонеты, хотя он восстал против ярко выраженных в них «испанизмов».

Затем своим колдовским голосом, как будто заклиная, читал сам Бальмонт: «Звук зурны звенит, звенит...» и неповторимое, таинственное «Агни».

А уже в 1920 году, во время второй его эмиграции я часто встречался с Бальмонтом. Показывал ему «свой» Париж — закоулки, которыми беспаспортным пробирался в «Ротонду», места ночлега под мостами, в парках. Сидим с ним как-то в кафе, пьем, конечно. Елена Константиновна\*\* просит: «Не пей! Не надо пить!»

---

\* Екатерина Алексеевна Андреева.

\*\* Елена Константиновна Цветкова.

Вышли у него сигареты. Выходим из «Ротонды», чтобы купить. Два часа ночи, все закрывается. Константин Дмитриевич останавливается посреди улицы, кричит: «O, la belle France, que je t'aime!» (О, прекрасная Франция, как я тебя люблю!).

Бальмонт познакомил меня с Мережковским, которого очень любил, часто бывал у него. В одну из встреч Константин Дмитриевич подарил мне свою книгу «Дар Земле» с надписью: «Марку Владимировичу Талову с чувством искренней симпатии. К. Бальмонт, 1921, 9 мрт.» Вручив книжку, Константин Дмитриевич попросил подождать: «Я переоденусь и мы с вами пойдем к Мережковским». Был холодный день, и я пришел в пальто, оставил его в передней. У Мережковских мы пробыли до 12 ночи. Распрощавшись, вышли на улицу. Я машинально сунул руки в карманы — в одном — два апельсина, в другом — 3 пачки английских сигарет и 50 франков. Это Константин Дмитриевич мне положил. Он добрейшей души был человек, об этом просто не все знали.

### *Владимир Полисадов. Религиозные искания*

В литературно-художественном кружке я познакомился, а затем подружился с поэтом и художником Иннокентием Николаевичем Жуковым, автором книги «Замок души моей». Он выдумывал и воплощал в глине «божков» и зверей, в черты которых вносил что-то от того или другого знакомого. Как-то в разговоре с ним я вскользь упомянул о своем интересе к католицизму. Еще в России с ранних лет я был подвержен мистицизму, увлекался религиозными исканиями. Иудаизм отталкивал меня фанатической обособленностью. Во Франции на меня неотразимое впечатление произвели своей театральностью великолепные ритуалы римско-католической церкви. Жуков познакомил меня с русским художником Владимиром Полисадовым, перешедшим в католическую веру.

Владимир Александрович (в монашестве брат Кирилл) — худой, даже изможденный человек с детски лазурным взором, коротко стриженный, с челкой на лбу и тонзурой на макушке, на лице написано благочестие. Третья степень монаха Доминиканского ордена не лишала его права жениться, но в быту он придерживался всех прочих ограничений, существовавших в монастырях. Не пропуская треб, он молился у себя дома, стоя перед воздвигнутым им аналоем, вел строгий образ жизни. В своей

мастерской брат Кирилл живописал лики Мадонны и святых, преимущественно же св. Доминикия, знаменитого Кастильского проповедника. Жена Полисадова, племянница Владимира Соловьева Ксения Михайловна, была во всем противоположностью своему мужу. Насколько он был сердоболен и отзывчив, настолько она была высокомерна, холодна, взбалмошна. Ростом она была выше своего мужа на две головы.

Полисадов чрезвычайно обрадовался случаю привести иудея на путь истины: водил меня по капеллам и монастырям, давал пояснения, наставлял, требовал покинуть «этот излюбленный дьяволом вертеп “Ротонду”», бросить пить, внушал, что в меня свыше заложена чисто христианская покорность... В результате он подчинил меня своему исключительному влиянию.

Я был наивен, многого не замечал, многое тогда мне было непонятно. Истинную подоплеку католического рвения Полисадова я понял значительно позже. Он был расчетлив. В то время, как художники-левобережники ютились в тесных каморках, жили впроголодь, он занимал прекрасную квартиру из четырех комнат на правом берегу Сены. Жили они с женой на широкую ногу, а на это нужны были немалые деньги. Полисадов завел обширные связи в католическом мире. Его принимали в аристократических кругах, был он вхож к принцам и баронам. С некоторыми из них он и меня познакомил, например, с бароном Гелионом де Бэрвиком. Думаю, что сделал он это не без расчета. То, что он вел заблудшую душу к купели, должно было зачесться ему в плюс среди людей этого круга. И брата Кирилла не оставляли на задворках состоятельного общества. Если предстояло расписать новую церковь, ему, русскому католику, отдавали предпочтение. На поощрения благого дела аббаты не скупились.

Когда Полисадов убедился в незыблемости моей воли принять католичество, в решении постричься в монахи, он начал строить планы моей будущей деятельности. Прежде всего он повел меня к бенедиктинцу аббату дом-Бессу, настоятелю женского монастыря на улице Monsieur. Об этом аббате брат Кирилл отзывался весьма почтительно: «Он очень благочестив, этот бенедиктинский монах. Уже одно то, что он является духовником претендента на престол Франции — Анри, графа Парижского, говорит о многом!».

Отец дом-Бесс, низенький человек с огромным животом, курносый, с бабьим лицом, сиявшим благодушием и святостью, подав-

лял верующих своим высоким авторитетом в толковании книг отцов церкви. На обеднях и повечериях гимны по его почину исполнялись бенедектинками на старинные, всеми основательно позабытые, грегорианские мотивы. Любители грегорианских песнопений стекались в этот монастырь со всех концов Парижа. Много труда положил дом-Бесс, чтобы отыскать старинные церковные ноты и возобновить службы, так, как было в шестнадцатом веке.

Нахваливая мою благочестивость, брат Кирилл представил меня аббату. Дом-Бесс посмотрел испытующе мне прямо в глаза и, видимо, удовлетворенный впечатлением, обещал снестись с отцом-иезуитом, которого попросит заняться мною, подготовить меня к крещению. Затем в моем присутствии дом-Бесс с братом Кириллом обсудили, куда меня определить после принятия католичества, и решили, что лучше всего мне пойти в семинарию. Наконец, мы простились с дом-Бессом, и брат Кирилл восхищенно уже на улице, строил мое будущее: «Вы представляете себе, что будет, когда вас посвятят в епископы? Вы будете первый русский человек, принявший епископский сан! А там, весьма возможно, станете и кардиналом! Как будет хорошо!».

Не теряя времени, через несколько дней брат Кирилл пошел со мной к отцу-иезуиту, с которым дом-Бесс успел уже переговорить. Под руководством отлично владевшего русским языком отца Руэ де Жуанно я стал вникать в смысл каждого параграфа катехизиса, часто посещал бенедектинский монастырь. Там за решеткой, с накинутыми на лица покрывалами, монашенки пели псалмы и гимны. Мне казалось, будто подхватываемые их молодыми головами херувимы плескали крыльями под самыми сводами капеллы. Мое сердце переполнял фанатический энтузиазм. Я преисполнен был христианского смирения. Раз в неделю я навещал дом-Бесса в его ризнице, где, после собеседования о спасении моей души, он сжимал на прощание мне руку, оставляя в ней серебряную монету и приговаривал: «Не смущайтесь, сын мой! Примите... Это даяние чистого сердца, во имя господина нашего Иисуса Христа!». И я благодарил его, не чувствуя унижения.

Изучение катехизиса тормозилось, с одной стороны, незнанием мною французского языка, а с другой — тем, что я предпочитал отсиживаться в «Ротонде» за стаканом абсента, наблюдая с жадным любопытством жизнь богемы, которая представлялась мне

безумной вакханалией, фейерверком. При этом я влачил жалкое существование, нуждался в самом необходимом, не имел своего крова, часто ночевал под открытым небом в Тюильрийском саду, на набережной, иногда в «Ротонде».

А из дома в это время шли безрадостные письма. Отец жаловался, что несколько раз приходил надзиратель, все в доме перерыл. Наложенный штраф уплатить невозможно, отец отделяется взятками. Этому не видать ни конца, ни края, он, в конце концов, выбился из сил. Я не знал, что делать. Меня терзали угрызения совести. Чтобы избавиться от них, решил было возвратиться в Россию. В самом деле, не будучи дезертиром — я ведь не давал присяги, просто уклонился от воинской повинности — я мог отделаться лишь легким наказанием. Но как только вспоминал полученную на первом же сборе зуботычину, я отвергал этот, казавшийся самым лучшим и простым исход. Вся натура моя противилась миру хамства и насилия. Нет, я не вернусь в этот мир, особенно после того, как увидел другую страну — свободную демократическую Францию. Правда, эта свобода и демократия не давали хлеба, я нищенствовал. Как это ни иллюзорно, я все-таки ощущал свою независимость, именно то, что ценил больше всего на свете. Конечно, я сознавал, что настоящую независимость я обрету, лишь когда стану самостоятельным в своих действиях.

Полисадов взял на себя попечение о бесприютном и беспаспортном поэте. Он снял мне комнату под крышей большого отеля за Люксембургским садом. При этом настаивал: «Не ходите больше в «Ротонду»! Забудьте о ней, вычеркните ее из списка ваших интересов, даже слово это забудьте!». Однако изучение катехизиса продвигалось медленно, в то время как в «Ротонде» я уже чувствовал себя, как рыба в воде.

*Накануне катастрофы. Вызов в полицию.  
Война началась. Вербовщики*

«Какой из тебя монах?! — потягивая коньяк, говорил мне русский художник Василий Крестовский. Ему вторил друг, молодой скульптор Павел Вертепов, ученик Бурделя, не устававший рассказывать о своем мэтре. Сострадательная Лидия Александровна Крестовская, жена художника, жалела меня: «Без профессии, без опре-

деленных занятий вы здесь окончите жизнь под забором». Она взялась помочь мне поступить в школу электромонтеров «Рашель», которая находилась в предместье Парижа Montrouge. Учившиеся там русские эмигранты получали стипендию за все время обучения. Я получил рекомендацию, написанную в самых лестных выражениях, и был принят в эту школу. Занятия должны были начаться 1 августа 1914 года. Я был счастлив при одной мысли, что теперь не надо будет ждать ничьей помощи. Я стану независимым, я буду в состоянии оплатить свое жилье! Только бы продержаться до 1 августа! Истекал последний срок оплаты комнаты в отеле, платить было нечем. Предстояло несколько дней прожить без жилья, впроголодь.

Внезапно положение мое еще больше осложнилось. Как-то во второй половине июля я поздно ночью вернулся в отель из «Ротонды». Меня поджидала хозяйка. С таинственным видом, шепотом она сообщила мне, что приходили из комиссариата, справлялись обо всех живущих здесь иностранцах, об их поведении и роде занятий. Все, не имеющие вида на жительство, должны явиться завтра же в комиссариат. Конечно, хозяйка тут же напомнила, что через день истекает последний срок оплаты за жилье.

Уже более полугода я жил в Париже, и никому до меня не было дела. Паспорт, с которым выбирался из России, я, как обещал, отослал владельцу тотчас по приезде. Я жил без всяких документов, и никто меня не беспокоил. На следующее утро я был в комиссариате. С трудом понимая по-французски, слово *passport* я уловил. Как мог, объяснил, что я эмигрант, прибыл без документов, прошу выдать мне вид на жительство. Комиссар терпеливо допрашивал меня: «Откуда вы прибыли? Где родились? Ваша национальность? Кто вас знает в Париже?» Наконец он объявил, что вида на жительство он мне не даст, что в собственных интересах я должен немедленно получить из России хотя бы метрическое свидетельство. Дело не терпит отлагательства. Иначе мне грозит высылка из Франции.

Из комиссариата я вышел с легким сердцем. Гром не грянул, никто меня не вышлет, весь этот допрос — простая формальность. Гораздо больше меня волновал вопрос, где достать деньги, чтобы заплатить за жилье в отеле.

В тот же день я рассказал Полисадову о своем посещении комиссариата. Он воспринял это событие совсем иначе, чем я.

«Вы, брат Марк, не понимаете, что под вами почва колеблется. Хорошо осведомленный приятель сообщил мне жуткую новость. Мы накануне великой грозы, готовой разразиться над Европой. Надвигается война! Верьте мне, что списки подлежащих высылке лиц уже составляются. Вот почему полицейские обходят отели!» Это было страшной новостью, чреватой для меня самыми дурными последствиями! Под нажимом Полисадова я написал письмо на родину, и он взялся сам его отправить. Из отеля, так и не расплатившись, я переселился в пристанище художников La Ruche («Улей») в пустовавшее ателье скульптора Шарлье<sup>6</sup>. Даровое жилье с постелью на антресоли!

1 августа 1914 года Германия объявила войну России, 2 августа вступила в войну Франция. Была объявлена мобилизация. Школа электриков закрылась, перестала выходить газета «Парижский вестник», в которой я держал корректуру. Я лишился заработка.

В эти дни я был свидетелем разгрома кафе, принадлежавшего немцу-эльзасцу. Люди были неузнаваемы. Бешено неистовствуя, толпа сгрудилась у входа в кафе, где еще утром я пытал счастье на грошовой рулетке. Воздух оглашался хриплыми истерическими взвизгиваниями и причитаниями, из которых ясно различались возгласы: «Долой бошей! Бей их!» И словно по команде, трое подозрительных юнцов в темно-сиреневых бархатных шароварах, в кепках, заломленных по-апашески, ринулись вперед. Вдребезги разлетелись огромные зеркальные витрины. Толпа хлынула в помещение, явно настроенная на расправу, на самосуд, на кровь. Хозяин с женой успели бежать через черный ход, а толпа разрядилась, поглощая винные запасы и круша все вокруг. Это было для меня что-то новое. Дотоле наивный и беззаботный, я никак не мог ожидать столь отвратительного зрелища в сердце демократической Франции. В те же дни в «Улье» застрелился австриец-художник.

2 августа была объявлена мобилизация. Среди посетителей «Ротонды» началась усиленная вербовка в иностранный легион: «...встать грудью на защиту демократии, на защиту приютившей нас страны». Помню трех таких агитаторов. Политэмигрант Владимир Дилевский, занимавшийся в Париже художественной фотографией. Из-за больных ног он не годился в волонтеры, а потому агитировал с легкостью. Другой агитатор, Хавкин, известный в эмигрантских кругах под прозвищем Чукча. В начале войны

никому еще не было известно, что Чукча, будучи секретарем Владимира Бурцева, издателя журнала «Былое», одновременно служил в охранке осведомителем. Он был разоблачен самим же Бурцевым после февральской революции. Ясно, что такими людьми полиция дорожила. В Париже они были нужнее, чем на фронте.

Среди вербовщиков выделялся член Литературно-художественного кружка поэт Браиловский, маленький, юркий, весьма «дельный малый». В Париже он под псевдонимом Бравский выпустил книжку стихов «Полюнь». Помню, с каким пафосом он, желая казаться архиреволюционным, читал свои стихи:

...Придет пора и, новый Муций,  
Я шею протяну ножу.  
В годину буйных революций!

В монпарнаских кварталах он подолгу убеждал вступать в армию волонтеров. Ему удалось сагитировать неразлучных друзей — русских художников Василия Крестовского и Павла Вертепова, писателя Таслицкого и многих других. На Марне иностранный легион послали на первую линию огня, и в первом же бою шрапнель одним махом снесла головы Крестовского и Вертепова. Они не успели даже отдать себе отчет в ужасе постигшей их судьбы. Несколько позже не стало и Таслицкого. Скульптор Иннокентий Жуков писал мне уже из России 30.01.1915 г.: «...О смерти благородного друга моего Васи Крестовского и Вертепова узнал сначала из газет, а потом из писем Лидии Александровны и Луначарского. Ими предполагается издание книги о нем и его творчестве... Готовлю свои воспоминания. Это был лучший, благороднейший человек из всех, кого я встречал... Таким же, но более женственным был Вертепов... Когда я думаю о них, душа моя наполняется грустью и тихой радостью, что я видел и знал их, встретил их на своем пути...».

Сам вербовщик Бравский тоже записался в волонтеры, но отделался счастливо. Подробности его чудодейственного спасения мне передавала вдова Таслицкого. После того, как в первую же неделю пребывания на фронте он стал свидетелем гибели Таслицкого, уклевив удобную минуту, Бравский дезертировал. Военная романтика испарилась. Пробравшись в Париж, он явился в военной форме

в квартиру к вдове своего товарища Таслицкого, сказал, что хочет примерить принесенный с собой штатский костюм. Не дождавшись разрешения, не обращая внимания на возгласы вдовы: «Дезертир, подлец, вы завербовали и предали своих товарищей!», Бравский зашел в спальню, переоделся и бежал, оставив на полу все свое военное снаряжение. Через несколько дней Таслицкая получила от него открытку с видом Барселоны. А из Испании он отправился в Нью-Йорк. Новый Муций подставил шею. Но не свою<sup>7</sup>.

*Два ареста за одну ночь. Допрос в полиции.  
Есть вид на жительство. Голод. Эвакуация*

Война началась стремительным наступлением немцев. Еще до сражения на Марне в Париже была слышна артиллерия. Город был наводнен агентами полиции, проверявшими документы, которых у меня по-прежнему не было. Полисадов написал мне на французском «удостоверение» — записку, в которой говорилось, кто я, чем занимаюсь в Париже, названы французы и русские, которые меня здесь знают. С этой запиской и с письмами, адресованными мне, в последний день мобилизации 6 августа я пробирался с правого берега Сены на левый, в свое убежище — «Улей». Мост Мирабо представлялся мне горькой чашей, которую не миновать. Едва я прошел через своды Отэйского виадука, меня остановил полицейский и потребовал документы. Дрожащими руками я подал ему письма и записку Полисадова. Полицейский с недоумением разглядывал их, а потом повел меня в комиссариат. В комиссариат, так в комиссариат, рано или поздно развязка должна наступить. Я готовился к самому худшему, шел, как на эшафот.

Комиссар разглядывал все те же мои «документы», задавал вопросы, которые я наполовину не понимал. Я на ломаном французском объяснял, что жду метрическое свидетельство из России. Как вдруг сзади, в самое ухо мне по-немецки задали вопрос: «Sprechen Sie deutsch?» Я машинально ответил: «Nein, ich spreche deutsch nicht!»\*

Только тут я понял, что мне хотят поставить западню. И действительно, допрос начался снова, но уже по-немецки. Немецким я

---

\* — Вы говорите по-немецки?

— Нет, не говорю.

владел не лучше, чем французским. Наконец, еще раз перечитав записку Полисадова, комиссар поверил все-таки, что я русский: «Ты наш алье (союзник)?! Ты пойдешь бить бошей?». При этих словах я потрясал кулаками в воздухе, что привело комиссара в благодушное настроение: «Иди домой и ничего не бойся. Если комиссар XV участка опять не захочет выдать тебе вида на жительство, пусть позвонит мне, я скажу ему, что я тебя уже проверил, я твой свидетель».

Довольный таким исходом дела, я не стал пробираться, как обычно, глухими улочками, а направился по улице Мирабо прямо к мосту. Я почти перешел мост, когда меня остановили два полицейских на велосипедах. Я опять предъявил те же «документы», объяснил, что уже проверен. Ничего не помогло. Меня взяли за руки и как преступника отвели все в тот же комиссариат Шардон-Лагаш. Здесь меня встретили как давнего знакомого. Теперь комиссар задавал вопросы полицейским: «Зачем вы его привели? Он что, хотел взорвать мост Мирабо? Он хотел кого-нибудь ограбить? Отпустите его». Я понял, что этой ночью мне придется кочевать из комиссариата в комиссариат, и попросил разрешения переночевать здесь. Вместо этого мне выдали записку на официальном бланке с печатью такого содержания: «Удостоверяю, что г-н Талов был арестован за неимением паспорта. При допросе признан русским подданным. Просьба не чинить ему препятствий и не задерживать его». Я торжествовал, у меня появился первый официальный документ. С таким документом я наконец попал в «Улей», хотя по дороге полицейские остановили меня в третий раз за ночь.

Не без труда, поскольку жил я в чужом ателье, с помощью Полисадова мне удалось получить и такую записку, тоже с печатью: «Я, Генриетта Секондэ, консьержка «Улья искусства», подтверждаю, что г-н Марк Талов проживает в «Улье» у г-на Шарлье с 20 июля 1914 г.».

С этим уже можно было идти в комиссариат квартала Сен-Ламбер XV участка, где однажды мне уже отказали. На этот раз все обошлось благополучно. Комиссары созвонились и я наконец получил вид на жительство — первый официальный документ, легализующий мое положение во Франции. Хотелось петь, безумствовать. По дороге я разговаривал сам с собой, размахивал руками. Встречные сторонились, принимая меня за помешанного. В таком настроении я отправился, конечно же, в «Ротонду».

«Ротонда» пустела. Парижане спешно эвакуировались. Те из иностранцев, кто не был эмигрантом, возвращались на Родину. Художники И. Чайков и К. Зданевич вернулись в Россию и вступили в армию. Многие поддались агитации и все-таки пошли в иностранный легион. Прошла, может быть, неделя, и на передовых позициях они сложили головы. Другие, как говорили, попросили, чтобы их перевели из легиона во французский полк. И они поплатились. Ходили слухи о расстрелах в Курсельском лагере. Русские эмигранты, не помышлявшие записываться в ряды волонтеров, осаждали царское посольство с просьбами о помощи. Однако оно отказалось заниматься «беспаспортными». В результате испанское посольство согласилось взять на себя заботу о них. «Беспаспортных» русских эвакуировали в средние области Франции, на юг, на юго-запад.

Те, кто, как и я, не поддались агитации, остались в Париже, жестоко голодали. Я еще кое-как держался, пока в Париже был Полисадов, но уехал и он. От голода я еле стоял на ногах. В мастерской Шарлье среди скульптурных бюстов, полотен, кусков засохшей глины я обшарил все углы в поисках съестного. Съел все найденные черствые, покрытые пылью, может быть изгрызенные мышами куски хлеба. В очередной раз обследуя ателье, я нашел облепленную паутиной и пылью нераскупоренную бутылку шампанского. И это было последнее, что я проглотил залпом, отбив горлышко бутылки. После этого я потерял счет дням и ночам, лежа на антресоли, читал Достоевского. Потом ничего уже не соображал, только чувствовал, как сосет под ложечкой. Но судьба смилостивилась надо мной. Меня неожиданно навестили Чайков и Хентова, обеспокоенные тем, что я давно не показываюсь в «Ротонде». Они меня растормошили, подняли на ноги, буквально стащили вниз и отвезли на Орлеанский вокзал — место сбора русских эмигрантов.

*В деревне Ривьер. Крещение. Конфликт с Полисадовым.  
Шинонский монастырь*

В теплушке нас отвезли в Тур. В дороге, после нескольких дней голода, я жадно набросился на еду. Началась горячка, я потерял сознание и уже не помню, как очутился в Туре. Когда очнулся, с удивлением озираясь вокруг и узнавал многих эмигрантов. Они рассказывали, что я бредил, ухаживали за мной. Вскоре нас отпра-

вили в город Шинон, в древнюю столицу Франции, а оттуда отдельными группами по 20–25 человек распределили по разным деревням на берегах Эндр и Луары. Я попал в деревню Ривьер.

Нас расселили у крестьян. Мужчин в деревне не было — всех угнали на фронт. Оставались лишь старики и молодежь, не достигшая призывного возраста. Мало того, что нас освободили от внесения квартирной платы (в военное время действовал мораторий, в силу которого жители городов и сел не вносили квартирной платы домовладельцам), на каждого беженца полагалось вспомоществование — по два франка в день. Раз в месяц учитель деревенской школы выписывал ведомость, по которой один из нас в городе Иль Бушар в мэрии получал пособие на всю нашу коммуну (нас было двадцать три человека, и мы решили образовать коммуны). За деньгами (достаточно солидной суммой) ездили все члены коммуны поочередно. Получателю мэра Ревьер выдавал пропуск на поездку за своей подписью и печатью.

Когда население деревни к нам привыкло, нас стали приглашать собирать в садах персики и яблоки:

— Ешьте хоть до отвала, ведь пропадет! Набирайте в ведра, ешьте... Жалко глядеть на сады, некому сбывать урожай...

Работать нас не заставляли, но мы добровольно шли на уборку винограда к местному помещику, который за изнурительную работу платил нам по два франка в день.

Работая на виноградниках, я не переставал интересоваться католической церковью, по воскресеньям ходил к обедне и познакомился с молодым священником, отцом Жантэ, о котором написал Полисадову. В ответ я получил рекомендательную записку: Полисадов просил Жантэ заняться мною. В назначенные часы, после работы я ходил на дом к священнику и зубрил наизусть краткий катехизис. Четырнадцатого марта 1915 года, в день моего рождения, меня крестили, а после крещения сын моей крестной матери сопровождал меня в Тур. Там в соборе я принял первое причастие. Когда я вернулся в Ривьер, некоторые члены нашей коммуны отвернулись от меня. Стали обвинять меня чуть ли не в предательстве эмигрантов, утверждать, что с моим переходом в католическую веру я себе будто создал привилегированное положение.

Художник Костюковский, с которым мы жили в одной комнате, успокаивал меня: «Не обращайте внимания на фанатиков». Мы с ним сдружились. Он писал «космические» композиции: на фоне

черной ночи носятся планеты и яркое солнце. Я читал Костюковскому свои стихи. Они ему нравились.

По воскресеньям, как и до крещения, я ходил в деревенскую церковь. Она мне нравилась своей простотой. Глядя на нее, никто не сказал бы, что в эпоху столетней войны сюда из Руана явилась Жанна д'Арк; перед тем как направиться в Шинонский замок — резиденцию французского короля Шарля Седьмого — она здесь горячо помолилась, а придя в замок, среди всех одинаково одетых и ничем не отличавшихся друг от друга придворных сановников, безошибочно определила короля, которого принудила пойти походом на англичан.

А между тем к началу июня 1915 года у меня произошел серьезный конфликт с Полисадовым. После его эвакуации в Аркашон Полисадов в резких выражениях потребовал моего покаяния на духу в «тяжком грехе» — в моем уклонении от воинской повинности. С каждым письмом он становился все исступленнее, проявляя непримиримость «истинного доминиканца». Выполнить его требование я отказался наотрез, считая, что гражданская моя жизнь выпадает из-под сферы католической церкви. Войну я считал делом, противоречащим как догматам христианского учения, так и моей совести.

Конфликт привел к тому, что мне назначили нового руководителя — настоятеля францисканского монастыря. Из деревни я переехал в Шинонский монастырь, где пробыл почти два месяца<sup>8</sup>.

Живя в Париже, я французского языка еще не знал, все время вращался в русском обществе. Со мною пробовала заниматься Елизавета Полонская. Она пыталась учить меня французскому по стихам А. Мюссе. Русский студент Грагеров учил по «Синей птице» Метерлинка. Эти занятия мне быстро надоели. Здесь же, сдружившись с крестьянами, общаясь с духовенством, выучив наизусть катехизис, что требовалось для крещения, я заговорил по-французски, даже начал думать на этом языке. Дыша воздухом Франции, я начал впитывать в себя ее историю и культуру.

*Возвращение в Париж. Товарищеский суд.  
Сближение и конфликты с И. Эренбургом.  
Поэт — комиссар полиции*

В августе 1915 года я самовольно вернулся в Париж. Слухи о моем «предательстве» (принятии католичества) докатились

и сюда. Художественная и политическая эмиграция были тесно переплетены. Эсеры привлекли меня к товарищескому суду, несмотря на то, что эсером я никогда не был. Я был вправе игнорировать их решение, тем не менее от разбора дела я решил не уклоняться, тем более, что моим судьей был эсер, критик Николай Семенович Ангарский, председатель Литературно-художественного кружка. Мне вынесли порицание, объявили: «Только честной работой вы сможете убедить, что в католичество вы перешли не по материальным соображениям. Только таким образом вы будете реабилитированы».

И без этого решения нужда постоянно заставляла меня искать работу. Иногда удавалось устраиваться чернорабочим. В разное время жизни во Франции я работал на пивоварне, на военном заводе, в типографии, на картонажной фабрике, в столярной мастерской, на лесопилльне, мыл посуду в кафе. На постоянную, более приемлемую работу устроиться было трудно, ведь и для французов не хватало рабочих мест. На что же мог рассчитывать я — «саль метек», «грязный иностранец»?!

Нашлись и такие фанатики, которые призвали объявить мне бойкот, подвергнуть остракизму. Я попал в тяжелое положение. Затравленный, в безысходном одиночестве, жил какой-то отрешенной жизнью. Порвав всякие связи с русской эмиграцией, имевшей отношение к политике (травили в основном меня эсеры и бундовцы, большевики в этом участия не принимали), я жил теперь в среде художников.

Началась для меня новая пора, когда я увлекся художниками будущей «парижской школы». Я часто посещал их выставки, проходившие летом на пленэре. Вдоль бульвара сколачивали просторные баракы, в них выставлялись полотна «независимых» представителей новейших школ — фовистов, пуэнтилистов, кубистов... В выставках участвовали Матисс, Синьяк, Вламинк, Модильяни, Цадкин, Пикассо... Сутин тогда еще не выставлялся.

Я очень много читал, в основном французских поэтов. Современных русских, кроме тех, что жили в Париже, я тогда не знал. А вот классиков читал — отец прислал мне в Париж мои книги — Пушкина, Лермонтова, Тютчева...

В этот период Эренбург тоже отошел от русской эмиграции. Теперь мы вращались в одном кругу, наши интересы были близки.

Однако мы часто наталкивались на подводные рифы. Так, осенью 1915 года, вернувшись из Турени, я прочитал Эренбургу свое стихотворение «Дождь»:

Эрнестина, Эрнестина,  
Все тобою здесь полно...

Он тут же стал выговаривать:

— Зачем эта любовь к иностранным именам?

Я надулся: «Это имя моей невесты, которую я оставил в Одессе...»<sup>9</sup>.

Эренбург, также как и я, очень интересовался средневековой французской поэзией. Язык он знал еще не очень хорошо и переводил со словарем. Как-то по его просьбе я прочел мои переводы из Шарля Орлеанского.

— В звуковом отношении стихи музыкальны. Вам удалось передать меланхолическое настроение Шарля Орлеанского. Хотите, дайте мне на просмотр ваши переводы. Я могу быть вам полезным в ваших начинаниях...

Мне не понравилось его желание меня в чем-то поправить, мною руководить, я уже считал себя не менее авторитетным, чем он. Он задел мое самолюбие, а я был очень «гордым» тогда. В «Ротонде» многие себя так держали. Моя реакция его обидела. После этого мы долго не разговаривали, даже не раскланивались. Он искренне хотел мне помочь, но я тогда этого не понял.

Тогдашнее мое отношение к нему я передал в четверостишии:

Ты был мне часто ненавистен,  
Но втайне нравился ты мне  
За то, что тривиальных истин  
Не принимал на стороне.

Я был погружен в себя, мало обращая внимания на внешнюю сторону жизни. Эренбург же хорошо разбирался в людях, живо увлекался всякими новыми течениями и в своих стихах часто следовал моде, был личностью всеохватывающей. Стихи его тех лет казались мне пересыщенными литературностью, идущими не от сердца. В эту пору, мне казалось, он искал себя.

Вскоре он покинул Париж. Отношения наши восстановились лишь по его возвращении в 1921 году.

После приезда из Турени я жил то у одного, то у другого художника. Как раз в это время, осенью 1915-го я подружился с Кремнем и Сутиным. Кремень жил в «Улье». Он дал мне приют, затем я перебрался к Сутину. Скульптор Щуклин в этот период рисовал мой портрет. Предоставлял мне ночлег в своей мастерской. Он в средствах не нуждался и даже снял мне позднее комнату. Когда портрет был закончен, с полотна на меня глянула бритая голова каторжника, изможденное лицо. Я ужаснулся.

В это же время меня опять арестовали, опять нависла угроза высылки из Франции, ведь я вернулся в Париж без разрешения властей. В комиссариате меня спросили, чем я здесь занимаюсь. Ответил, что я поэт, пишу стихи. Тогда комиссар попросил меня назвать французских поэтов. Я перечислил много имен и среди них назвал Эрнеста Рейно. Меня отпустили. А через некоторое время я узнал, что поэт Эрнест Рейно служил комиссаром полиции<sup>10</sup>.

### *Товарищ Антон. «Наше слово»*

Вот при таких обстоятельствах весной 1916-го меня однажды остановил на улице худой человек с аскетическим лицом, длинно-волосый, в пенсне. До войны я иногда встречал его на собраниях Литературно-художественного кружка, знал, что зовут его «товарищ Антон». Лишь много позднее узнал, что это его партийное прозвище, а настоящее имя — Владимир Александрович Антонов-Овсеенко.

Сперва он был строг. Глядя в упор, стал расспрашивать меня по поводу моего обращения в католичество: «Зачем вы это сделали? Получили ли за это денежное вознаграждение? Расскажите все без утайки». Я отвечал, что католичество принял потому, что верил, никаких денег ни от кого не получал. Рассказал и о своих расхождении с католиками.

— Я тебе верю, — сразу переходя на «ты» сказал товарищ Антон и вдруг предложил совершенно неожиданно, — хочешь работать на революцию со мной в газете «Наше слово»? Ведь ты же против войны. Наша газета тоже против. Полное совпадение.

— Хочу, — недолго раздумывая, ответил я.

Мы были люди разного склада. Наши интересы первоначально ни в чем не совпадали. Владимир Александрович, казалось, весь растворился в делах политэмигрантов, горел на работе, не давая себе отдыха, устраивал прибывавших из России и помогал им чем мог, между тем как сам голодал. Я же был поэт и мечтатель, с ранних лет подверженный мистицизму, увлекавшийся религиозными исканиями. К политическим эмигрантам я не имел никакого отношения. Не прими я католичество, вряд ли состоялось бы мое знакомство с Антоновым-Овсеенко. Он поверил мне безоговорочно, не беря под подозрение ни одного из моих утверждений.

«Наше слово» была газетой интернационалистов, «товарищ Антон» — ее редактором. Мне поручили держать корректуру. Кроме того, я стал «газетчиком», т. е. ежедневно предлагал в эмигрантской столовой свежий номер «Нашего слова». Гриша Беленький, тоже работавший в газете, этот, как тогда его называли в эмигрантских кругах, «ортодоксальный ленинец», был в курсе моих религиозных увлечений и не одобрял их. Но когда он увидел, как я в столовой на улице Гласьер распространял «Наше слово», сказал с восхищением: «Поэт Талов идет с большевиками!».

В редакции «Нашего слова» я впервые услышал о Ленине. О своем согласии с ним мне постоянно говорил Антон. Ленина я в Париже не видел. Он уехал до моего приезда. А вот Троцкого несколько раз встречал в «Ротонде». Мне он очень не нравился. Конечно, не по идейным мотивам, поскольку я отнюдь не вникал в их суть. Он производил на меня отталкивающее впечатление своим высокомерием. К людям у него было барски-презрительное отношение.

Надо сказать, что художественная богема — и русские, и французские, и испанские художники и поэты — безоговорочно принимали Ленина, с восторгом приняли и Октябрьскую революцию.

Владимир Александрович жил у большевика Я. И. Вишняка на улице Эрнест Крессон в клетушке для прислуги, в мансарде. Внизу вместе с Вишняками жил Троцкий. Я в этой квартире не бывал. Когда за политэмигрантами, собиравшимися у Вишняков, устанавливалась слежка, Антон переходил ко мне на улицу Лебуи: «У Вишняка мне оставаться неудобно. Не стесню тебя?». Мы разговаривали допоздна, оба предавались воспоминаниям. Он рассказывал

о том времени, когда учился в кадетском корпусе, когда был арестован и приговорен к смертной казни за революционную деятельность, вспоминал, как бежал из России. А то вдруг вспомнит о любимой женщине с очень тонкими руками, цитирует строки известного стихотворения Блока: «Ты, держащая море и сушу неподвижно тонкой рукой...» Наконец мы засыпали: утром предстояла напряженная работа над очередным номером «Нашего слова».

Антон был артистической натурой, любил живопись, поэзию, дружил с поэтами. Человек он был очень честный и откровенный. Если он привязывался к кому-нибудь, то готов был отдать душу за этого человека. Но все, что он имел сказать, он выкладывал, ничуть не заботясь, понравятся ли его высказывания. Камня за пазухой он не держал, часто гладил против шерсти. Но я всегда был благодарен ему за то, что он встал выше существовавших против меня предубеждений.

Из сумм, ассигнованных на издание газеты, на себя и меня он затрачивал минимальные средства: на обед наш расходовал не более двух франков. Этих денег явно не хватало, чтобы нам поесть досыта. Обыкновенно он покупал колбасу и батон, делил пополам и приговаривал:

— В кафе не пойдем, сядем на бульварчике, перекусим, отдохнем чуточку и пойдем поработаем!..

После такого обеда мы не позволяли себе выпить хотя бы чашечку кофе. Деньги следовало беречь. Мы не получали никакой заработной платы. Время от времени для пополнения весьма скудных средств на издание газеты приходилось устраивать концерты с якобы «благотворительной» целью. Владимир Александрович отправлялся со мною на Центральный рынок — знаменитое «Чрево Парижа».

Из дому выходил я рано, до рассвета, встречал поджидавшего меня товарища Антона у входа на станцию метро «Вавэн», и мы маршировали в ряд с першеронами, запряженными цугом по две пары на фургон. На рынке мы покупали множество цветов для предстоящего концерта. В цветочном ряду носились одуряющие или тонкие, едва уловимые запахи ирисов, пионов, анемонов, орхидей, пышных роз небывалой красоты и редчайшей раскраски.

И, запряженные в фурунны,  
Тащились першероны в «Аль»,

Где продавались анемоны,  
Омары, устрицы, кефаль;  
Где пахло розами и морем,  
Лимоном свежим с Апеннин,  
Где оборачивался горем  
Шального счастья миг один...

Букеты цветов распродавали на концертах и это, наряду с буфетом, значительно укрепляло финансы газеты. На вечерах выступали артисты и свои рабочие поэты, например, Михаил Герасимов. Выступал и Владимир Александрович, — и неизменно с любимыми им стихами Эмиля Верхарна и Уолта Уитмена. С огромным подъемом, вытягивая шею, как будто голова вот-вот оторвется и улетит, с трепетной нежностью, то затихая, то возвышая голос, декламировал он «Эшафот» Верхарна: «Туда, где над площадью нож гильотины...».

Слушая его, зал замирал, а под конец, когда его голос переходил в шепот, — раздражался рукоплесканиями. Затем, дав залу успокоиться, он начинал скандировать стихотворение Уитмена из книги «Побеги травы» в переводе Бальмонта — «Громче ударь, барабан!».

### *1917-й. Волнения в Париже. Я «застрял» во Франции*

Зима 1917-го была очень холодной. Война продолжалась. Противники топтались на месте, то наступая, то возвращаясь на исходные позиции. Газета «Журналь» выходила ежедневно с одним и тем же ехидным стишком рядом с наименованием: «Où nous en sommes?» — «Sur la Somme» («Где нынче мы находимся?» — «На Сомме»). В Париже стояли длинные хвосты за трудно перевариваемым хлебом из маисовой муки (его живописно называли *du pain sasa*), за углем, за пачкой табака. В марте наконец начало теплеть, и вдруг все французские газеты запестрели жирными «шапками» о начавшейся в Петрограде революции. Свежие номера газет буквально вырывали из рук газетчиков, выкрикивавших последние новости из России. Газету «Наше слово», выступающую против войны, к тому времени прикрыли. Вместо нее стала вскоре выходить газета «Начало», с тех же позиций печатавшая материалы

о революции в России. В последних числах марта и эту газету закрыли. С середины апреля наша газета начала издаваться под названием «Новая эпоха».

В апреле-мае в Париже многие бастовали, часто проходили митинги и демонстрации. Помню митинг в огромном концертном зале на авеню Ваграм. Яблоку негде упасть. Яростные споры между противниками войны и сторонниками ее до полной победы над «милитаристской» Германией (как будто страны Антанты вели войну исключительно ради защиты демократии).

Особенно внушительный митинг состоялся 1 мая 1917 года на улице Шато д'О в «Доме Синдикатов». Со страстной речью о неизбежности перерастания войны в мировую революцию выступил Антон. После митинга все вышли на улицу, организовалось торжественное шествие с красными знаменами. Впереди колонны — инвалиды войны. Возгласы «Долой войну!». Идем вдоль канала Шато д'О. Балконы домов украшены красными полотнищами, из окон машут красными платочками. Как только колонна вступила на площадь Республики, она была окружена конной полицией. На демонстрантов посыпались удары дубинок. Несколько человек упали, были раздавлены лошадьми. Меня, неповоротливого, Антон схватил за руку, силой тащил сквозь толпу, втокнул в попавшееся спасительное кафе.

Помню апрельские бунты солдат. Они выкрикивали антимилитаристские лозунги, шагали со свернутыми красными флагами. Стоило появиться отряду конной полиции, как солдаты разворачивали эти знамена, и у них в руках оказывался трехцветный национальный флаг республиканской Франции.

В эти же месяцы в Париже был образован перманентный Комитет, ведавший репатриацией русских политэмигрантов. Я хотел вернуться на родину и тоже подал заявление. Мне его вернули под тем предлогом, что я не политэмигрант. Впрочем, помехи к поездке чинились не только таким, как я. Все те, кто раньше был подозреваем французскими властями в антимилитаризме, очень долго не получали виз. Наконец уехали и они. Один из возвращавшихся эмигрантов взял у меня рукописи моих антивоенных стихов. Только вернувшись в Россию в 1922 году, я узнал, что в первом номере газеты «Буревестник», вышедшем в Петрограде 11 ноября 1917 года, были опубликованы два моих стихотворения — «Зачинщики» и «Присутствуя на мировом спектакле».

Антон, который впервые тогда назвал мне свое настоящее имя, говорил, прощаясь: «Ты не торопись. Сперва в Россию поедут те, кто боролся против царизма — за ними все преимущества. А уж после них вернешься и ты».

Газета наша больше не выходила. Некоторое время я работал у Шарля Раппопорта. Он попросил привести в порядок его газетный архив. Я приходил с утра на бульвар Пор-Руаяль, отпирал сарай и рылся в газетах на всех европейских языках, рассортировывал их по годам и странам. Раппопорт читал их свободно, но правильно не разговаривал ни на одном из языков. Проработал я там до зимы, когда стало холодно находиться в сарае.

Под тем предлогом, что самодержавие в России пало, и она теперь стала демократической страной, французские власти стали опрашивать оставшихся эмигрантов, где кто хочет служить в армии — во Франции или у себя на родине. Этот опрос был согласован с Временным правительством. Если уж другого способа вернуться на родину нет, я заявил, что служить буду в России. С этой волной уехали многие эмигранты. Я терпеливо дожидался своей очереди, но тут произошла Октябрьская революция. Посольство Временного правительства, представлявшее в Париже Россию вплоть до конца 1924 года, аннулировало свои списки реэмигрантов. Я застрял во Франции надолго. В ноябре 1918 года Германия попросила о перемирии, затем был заключен Версальский договор, а мы хотя и не считались пленными, но очень было похоже на то: из Франции выехать нам не разрешали, тем более в восточном направлении.

### *Голодная зима 1918 года. Шахматы. Хаим Сутин*

Зима 1918 года. Живу в пустом ателье, которое бросил французский художник. Он вывез оттуда всю мебель, ключи отдал мне. Я ложусь на цементный пол, укрываюсь своим пальто. Лежу с полчаса и невтерпеж, не могу больше, встаю, топаю ногами, танцую, пока не устану, опять ложусь на полчаса. Промучившись так до трех часов ночи, бреду греться в «Ротонду»<sup>11</sup> — там уже открыто. Денег в кармане ни гроша. Поэзия, конечно, хорошо, но с нею можно умереть под забором. Мечтаю о чашке кофе с куском хлеба. Об обеде и ужине и говорить нечего — я считал это роскошью,

нечто вроде привилегии людей более достойных, чем я. Голодные худые кошки скреблись в моем желудке, доводя до умопомрачения. Доходило до того, что я не стеснялся просить малознакомых людей угостить меня. Голод был жестокий, страшный своим реализмом. Подобные муки испытывали в разное время и Кремень, и Сутин, и Модильяни, и другие обитатели «Улья»... Это вовсе не был «романтический период голода», как писали потом в биографиях монпарнасцев, ставших впоследствии знаменитыми. Какая там романтика!

Однажды, когда я ночью пробирался в «Ротонду» по неосвещенному проезду через кладбище Монпарнас, с кладбищенской стены соскочили четыре апаша. В кулаках — кастеты. Начали избивать, кровь залила глаза, упал. Взмолился: «У меня нет денег, я бедный поэт!». Они мигом обшарили карманы, конечно, ничего не нашли. Извинились, дали мне немного денег.

Я неплохо играл в шахматы. И вот, придя в «Ротонду» без гроша в кармане, заказываю завтрак и, поедая его, поджидаю прихода первых шахматистов. Ставка — пятьдесят сантимов партия. Если проиграю, отдавать нечем, да и завтрак не смогу оплатить. И будто сам дьявол водил моей рукой. Я ставил самый неожиданный мат, когда партия, казалось, была мной проиграна. Болезненное нервное напряжение, в котором я постоянно находился из-за мук голода, передавалось моей игре. Дрожащими руками я двигал фигуры, давая им самые невероятные направления. Поминутно и по малейшему поводу я раздражался и смелыми до нахальства ходами доводил столпившихся зрителей до смеха. Я знал только, что мне во что бы то ни стало нужно выиграть, как будто дело шло о моей жизни. И я выигрывал. Оплачивал не только свой завтрак, но порой и на обед оставалось.

Все это мне дорого стоило. Я отходил от столика еле дыша, качаясь, еще более осунувшись. Возвращаясь в мастерскую крайне утомленный, с пустой душой, я первым делом вынимал из кармана маленький пузырек, который как верный друг в течение двух лет был со мной всегда. Он мог меня избавить от всех и всего в любой миг, когда мне только захочется. Но нет, есть еще время, я еще недостаточно ненавижу жизнь... Оставим до другого раза.

Католическая газета «Ла Круа» предложила мне пост референта по русским делам. Мне предлагалось обрабатывать материалы

по русской революции в угодном для газеты направлении Я мог бы выбраться из своего житейского ада, и тем не менее я отказался.

В этот период месяца четыре по крайней мере я жил в ателье Сутина. Вначале, когда я поселился, самого Сутина там не было. Раздобыв денег, он уехал куда-то на юг писать свои роскошные пейзажи. Ключ от его ателье мне передал наш общий друг художник Кремень, в ателье которого в «Улье» я жил около месяца. В то время Кремень и Сутин были очень дружны, хотя по натуре были людьми совершенно разными. Кремень неизмеримо искреннее и человечнее Сутина. Я дружил с ними обоими. Помню нашу троичку в «Ротонде» за чашечкой кофе, помню, как мы с Кременем идем по бульвару Монпарнас и в два голоса воспроизводим удивительно трогательное *allegretto* из седьмой симфонии Бетховена. Оба они — и Сутин, и Кремень — писали мои портреты. Портреты затерялись, не осталось даже снимков с них.

Они же предложили мне стать посредником по продаже их картин, а также работ Завадовского, Нины Амнетт и других художников. Сам художник обычно не предлагал свои работы, у него не было времени ходить по городу: он или рисовал, или пропивал полученные деньги. Мне давали картины, и я с ними шел по адресам любителей живописи в надежде, что кто-нибудь купит. Но коммерческой жилки у меня не было, поэтому через неделю я бросил это занятие.

Ателье, где жил Сутин, находилось в грязном рабочем квартале, в зловонном закоулке в доме Ситэ Фальгьер. Как и «Улей», это было пристанище художников и скульпторов. Сутин жил в ателье скульптора Мещанинова. Грязь там была неимоверная, мусор не выносили годами. Сутин, личность богато одаренная, во многих отношениях оригинальная, был неприятен своей привязанностью к грязи. Сутин и грязь — это две половины, составлявшие одно целое. В первую же ночь я вдруг почувствовал настоящую осаду клопов, пугавших меня своими размерами и своей бесчисленностью. Не будет преувеличением сказать, что они были бесчисленны, как звезды на небе. Около полуночи мне обыкновенно приходилось вставать с кровати, брать все, что попадалось под руку — пальто, разную ветошь, — и наскоро импровизировать себе постель в противоположном от кровати углу. Однако через некоторое время я убеждался, что эти меры не помогли. В конце концов я завел обычай перед сном выливать возле кровати несколько ушатов

воды, пока не образовывалось настоящее озеро. Однако вода мне доставалась не без трудностей. Кран находился как раз под окном домовладельца. А так как Сутин не платил за ателье, а обо мне хозяин дома не имел ни малейшего представления, ясно, с каким страхом я крался за водой.

Внешность Сутина была мрачной, черты лица грубы. Выклянчивая что-нибудь, он вел себя часто как беспардонный нищий. Мог обмануть, добывая деньги, чтобы пропить их в «Ротонде» или отдать уличным женщинам.

Кисть Сутина говорила о незаурядном таланте, а палитра несла в себе такой пламень, такую необузданную страсть, такую неизгладимую печать сексуальности, от которых рождалось звериное желание жить. Его картины — это его автобиография. Он не видел подлинников Ван Гога, а между тем, как он был на него похож! Оба, когда писали картины, доходили до иступления. Помню, как в 1918 году Сутин писал мой портрет. Он был в каком-то экстатическом состоянии, словно одержим бесами, словно умалишенный, для которого живая модель, то есть я, превратился в мертвую природу. Мне было страшно ему позировать.

Сутин не хотел, чтобы видели, как он работает. Я оказался одним из немногих свидетелей. Я видел, как он писал натюрморт с селедками, висящую утку, кровавую тушу. Прежде чем съесть принесенную из лавки снедь, он принимался за натюрморт и мучился, разрываемый голодом, пожирая ее лишь глазами, не позволяя себе к ней притронуться, пока не закончит работу. Он становился бесноватым, слюни текли у него при мысли о предстоящем «королевском» обеде. Кто голодал, тот поймет это. Сила каждого произведения искусства дается беспощадной правдой о своей жизни.

В начале двадцатых годов быстрое восхождение Сутина к вершине славы казалось бы невероятным предположением. Того, кто утверждал это, сочли бы сумасшедшим человеком. «Открыл» Сутина скульптор Мещанинов. Он первым купил его работы.

*Перевожу Малларме. Рене Гиль. Макс Жакоб.  
Жак Маритен. Я представлен французским поэтам*

В 1918 году я уже хорошо владел французским языком и начал переводить свои стихи на французский. Весной мои стихи, приня-

тые Жаном Кассу<sup>12</sup>, появились в журнале молодых французских поэтов «Ле Лэтр Паризьен». В этот же период я познакомился с Арагоном, Аполлинером, многими французскими художниками и поэтами.

С Гийомом Аполлинером меня познакомил Макс Жакоб, представив в лестных для меня выражениях. Я много раз видел Аполлинера прежде, а теперь едва его узнал: поэт вернулся с театра военных действий, был тяжело ранен. Голова его была перевязана — ему сделали трепанацию черепа. Мы втроем до полуночи разговаривали за столиком в «Ротонде». А через неделю после нашего знакомства Аполлинер заболел «испанкой», лег в больницу, и через три дня нет человека — умер!

Я тоже месяц проболел «испанкой», лежал в Париже в больнице, две недели между жизнью и смертью. Кругом умирали. Я выжил...

В 1918 году я перевел первое стихотворение Стефана Малларме — «Другой веер его дочери». Впервые я узнал это имя еще в Одессе — в одной из газет прочел сонет Малларме «Лебедь» в переводе М. Волошина. А полюбил его поэзию, как только достаточно овладел французским языком. Над страницами его книг я думал месяцами, годами. Старался проникнуть в ясное «расиновское» звучание его стиха в «Послеполуденном отдыхе фавна», разгадать неуловимую, умышленно разлитую всюду затуманенность образов. Я поставил себе целью перевод полного собрания его стихотворений. Малларме нельзя перевести адекватно, недаром считается, что его поэзию надо сначала перевести на французский язык, ибо этот поэт непереволим. Говорят же французы: «...pour traduire du Mallarmé il ne faut pas être mal armé»\*. Я стремился по крайней мере передать пластическое движение его раздумий в синтаксически усложненных версиях, точнее, создать «русского Малларме». Над произведениями мэтра я работал 17 лет. Завершил работу уже в Москве осенью 1935 года. В загадки его стихов мне помог проникнуть один из учеников Малларме — основоположник научной поэзии Рене Гиль. Он «прошел» со мной всего Малларме<sup>13</sup>. Мы дружили, я часто бывал у него, вместе мы посещали литературные собрания на улице de Rome. Кое-что пояснили мне

---

\* Чтобы переводить Малларме, надо хорошо вооружиться.

Анри де Ренье, Жан де Гурмон (брат писателя Реми де Гурмона). Как известно, великий мэтр имел обыкновение после чтения своих стихов комментировать их в кругу своих учеников и приверженцев.

Сначала я переводил Малларме «для себя», потом пытался опубликовать переводы в России. Их не печатали. Я читал «своего Малларме» в 1922 году в Берлине Андрею Белому, Алексею Михайловичу Ремизову, позднее в Москве — Осипу Мандельштаму, Владимиру Пясту, Илье Эренбургу, Паоло Яшвили, Тициану Табидзе...

Постепенно мои дела стали поправляться. Мои стихи печатались во французских журналах, за это платили. Появились почитатели и покровители среди французов — мои друзья, друзья моей музыки. В последние три года пребывания в Париже я мог уже оплачивать крышу над головой — мансарду на улице Жозеф Бара, 9. Один из моих почитателей несколько раз платил за мое жилье вперед за три месяца. Это плата составляла 55 франков<sup>14</sup>.

Очень много сделал для меня мой друг, французский поэт и художник Макс Жакоб. Он находил меценатов, передавал 50, 200, 400 франков, пожертвованных для меня разными людьми<sup>15</sup>.

Много помогал мне профессор Жак Маритен<sup>16</sup>, глава католической философской школы, служивший культу Фомы Аквинского, впоследствии посол Франции в Ватикане. Я бывал у него в Версале: мы беседовали, читали стихи. У Маритена было много знакомых среди людей достаточно богатых. Был среди его друзей поэт Жан Луане, который умел писать готическим шрифтом. Напишет два-три моих стихотворения готическими буквами, сделает заставки в том же стиле, и Маритен направляет меня к людям, которые интересуются такими рукописями. Платили за них много — 2–3 тысячи франков.

В 1920 году передо мной открыли страницы многие литературные журналы. Я приобрел известность в среде французских поэтов и читателей поэзии. А началось все на собрании нового литературного объединения поэтов — неоклассиков «Плеяды», основанного поэтом и психологом Жоашеном Гаске<sup>17</sup>. Собрание происходило на правом берегу, в Пасси, в кафе, которое тоже называлось «Ротонда». Стены были увешаны картинами Фавори и других художни-

ков, которые примыкали к новой поэтической школе Гаске. В центре заседал цвет французской поэзии во главе с Полем Валери...

Я попал сюда впервые. Меня пригласили Пейрабоны — отец (адмирал, заместитель министра транспорта) и дочь, оба почитатели поэзии. Мадемуазель Пейрабон в одежде средневековой монахини сидела рядом с Гаске. Он обратился к ней: «Кого из поэтов вы читали в этом году?» Неожиданно она ответила: «Стихи Талова. Он здесь». Гаске подозвал меня и спросил, нет ли у меня с собой рукописей. Не без робости я подал свои стихи, переведенные мной на французский. Гаске прочел их про себя и вдруг во всеуслышанье перед огромным залом попросил внимания, чтобы, как он выразился, «поделиться с коллегами выпавшей ему честью открыть большого поэта». Гаске вслух читал мои стихотворения. Меня окружили, поэты дарили стихи. Так ко мне пришла известность. Ж. Гаске и «принц французских поэтов» Поль Фор представили меня в кафе «Клозри де Ли́ла», где по вторникам собирались признанные литераторы и художники<sup>18</sup>. Меня стали печатать журналы *Montparnasse*, *L'Oeil*, *Le Monde Nouveau*, *Les Lettres Parisiennes*, *Les Humbles*, *La Vie des Lettres*, *L'Amour de l'Art*... Появились рецензии<sup>19</sup>, поэты приглашали на свои литературные вечера.

К этому времени относится анекдотический случай моего общения с Алексеем Толстым. Держался он со мной весьма высокомерно, что-то не понравилось ему в моих стихах, да и вообще мы были мало знакомы. Неожиданно для меня вдруг все изменилось в лучшую сторону. Под руку с Полем Фором я вошел в «Клозри де Ли́ла». Увидев нас вместе, Толстой, сидевший за столиком, кажется, с М. Алдановым, вдруг встал, подошел ко мне и низко раскланялся.

В первые месяцы моего возвращения на родину мы случайно встретились с А. Толстым на улице. «Ну как, хорошо? Вам нравится в Москве?» — обратился он ко мне. «Очень нравится», — ответил я. — «Ну вот, мы будем здесь с вами встречаться!» Больше мы никогда не общались.

Гораздо ближе я был знаком с женой А. Толстого — Натальей Васильевной Крандиевской. Более того, она принимала большое участие в моей судьбе. По ее предложению русский литературный фонд в Париже выдал мне в 1921 году вспомоществование — 500

франков, 200 из которых у меня тут же взял для себя Валентин Парнах.

### *Амедео Модильяни. Жанна Эбютерн*

Амедео Модильяни я увидел в «Ротонде» уже в конце 1913 года, т. е. вскоре по приезде в Париж. К тому времени он покинул Монмартр, в начале века бывший средоточием художественной богемы со всего света. Он поселился в «Улье», и первый художник, с которым он там познакомился, был Хаим Сутин. Их сближению помогли Шагал, Блэз Сандрар, Осип Цадкин, Жак Липшиц. С Сутиным они были рядом до самой смерти Модильяни. Оба — гениальные художники нашего времени, они вместе голодали, вместе пили. При этом Модильяни всегда главенствовал, а неотесанный, плохо говоривший тогда не только по-французски, но и по-русски Сутин, выделял его из всех своих знакомых, понимая, что Амедео — человек высокой культуры.

Выходец из Польши Моисей Кислинг, чилиец Ортис де Сарате, японец Фужита — вот обычная компания Модильяни в «Ротонде». А видел я его там каждый день, и почти всегда он был пьян до неменяемого состояния, часто учинял скандалы. Бывало, что тут же падал, его выволакивали за ноги, а он кричал, непотребно ругался. Протрезвев, рисовал. В »Ротонде» при нем всегда были альбом, стопка бумаги.

Модильяни был очень красив, весь его облик излучал вдохновение. Помню его в коричневой вельветовой куртке, шея повязана темно-красным фуляром, фетровая шляпа с полями à la Рембрандт оттеняет необыкновенную выразительность его жгучих черных глаз, испытывающих людей с первого взгляда. С его губ не сходила покоряющая серафическая улыбка, которой невозможно было не поддаться. Был он болен, кашлял.

Как и все мы, он голодал, часто менял жилье. Подходит время платить за квартиру, денег нет. Уходит, снимает какую-нибудь дешевую халупу, вовсе не похожую на студию. Там и рисует. Он был бродяга. Если попытались бы вывесить памятные доски на всех домах, где он жил, пришлось бы отметить очень много домов в Париже. Последнее время у него совсем не было денег. В доме рядом со своим ему снял помещение польский поэт Леопольд Збо-

ровский, который искренне, душой болел за Модильяни, да и за других художников. Он стал посредником между художниками и любителями искусства, пытался продать картины. Поэт, он не был торговцем, не искал для себя никакой выгоды.

При жизни Модильяни из его произведений не продавалось почти ничего. Лишь некоторые любители за бесценок покупали его работы. Были и такие, кому искусство Модильяни нравилось, но не было денег, чтобы купить его произведения. Таким был писатель Франсис Карко. Средств у него не было, и Зборовский подарил ему очень много работ художника именно потому, что Карко ценил Модильяни. Сам художник раздаривал свои рисунки направо и налево. Нарисует портрет и отдает, расплачивался рисунками в кафе. Однажды рисовал в «Ротонде» натурщицу, но посчитал, что она недостойна иметь его работы. Тут же отдал их Ладо Гудиашвили. Тот сохранил два его рисунка.

Модильяни очень хорошо говорил по-французски, он изучал французский еще в Италии. Любил французскую поэзию — Малларме, Рембо, Бодлера. Очень любил Данте, часто читал его наизусть; любил Петрарку, сам писал стихи. После его смерти часть из них была опубликована. Вообще он постоянно декламировал стихи наизусть, даже будучи пьяным. А иногда бормотал что-то невразумительное, трудно было понять, о чем он, какие-то пророчества. Именно Модильяни впервые заговорил со мной о Малларме, внушил мне интерес к нему. Я задумался об этом его увлечении и начал переводить, сперва как бы шутя, стихотворения Малларме в прозе.

Одно время он был сердит на меня за то, что я принял католичество. За это же доставалось от него и Макс Жакобу. За два месяца до своей смерти он вдруг пригласил меня к своему столу в «Ротонде», чтобы рисовать мой портрет. Я ему позировал около часа. Был он трезв. Портрет этот он подписал: «Талову. Модильяни. IX.1919». В декабре 1919 года, т. е. за месяц до смерти, еще раз рисовал меня, тоже в «Ротонде».

Эти два портрета выпросил у меня весной 1922 года, накануне моего отъезда на родину, завсегдаей «Ротонды» канадец Виктор Линтон. Конечно, деньги мне перед отъездом были очень нужны. Линтон же говорил, что хочет получить эти портреты на память обо мне. Как же я был глуп, не подумав, что на память достаточно фото-

карточки! Я уступил просьбам Линтона, получив за оба подлинника 50 франков. Счастье еще, что Линтон сделал фотографии этих портретов и отдал их мне. О судьбе подлинников я ничего не знаю. Напрасно по прошествии многих лет я пытался через друзей, живущих во Франции, разыскать Линтона. Мне неизвестно, были ли опубликованы где-либо эти портреты<sup>20</sup>. Уже в Москве, просматривая книгу Артура Пфанстиля «Dessins de Modigliani», Mermod, 1958, я узнал себя в портрете неизвестного молодого человека. Этот, предположительно третий портрет, выполнен в 1916 году.

К слову, меня рисовали многие художники. В Париже — Сутин, Кремень, ученик Сезанна Эмиль Бернар (он написал маслом портрет большого формата), Судейкин, Макс Жакоб, Пьер Гальен, Ортис де Сарате, Антонио Симонт, Морис Ретиф, Лагар, Оттон ван Рейс. В Москве — Даниил Даран, Никогосян. Некоторые портреты сохранились, о судьбе других я ничего не знаю. Часто художники сами уничтожали свои работы.

Модильяни сначала занимался скульптурой, но это требовало значительных затрат, которых он не мог себе позволить. Художники в то время увлекались кубизмом, потом дадаизмом. Модильяни не поддавался влияниям новых школ, ни на кого из современников не был похож. Разве что его скульптуру вдохновляла негритянская культура. У него было свое понимание искусства, которое шло вразрез с модными тогда течениями, но он никогда не утверждал своего превосходства, как это делали многие художники.

Модильяни — типичный итальянский художник. Живопись его идет от художников дорафаэлевской школы, может быть, от Фра-Анжелико или даже от Боттичелли. Вся она проникнута лиризмом, каждая линия волнует, трогает зрителя. Выразительность и тонкость, переходящая в музыку!

В начале своего знакомства с Модильяни рядом с ним в «Ротонде» я видел обычно рыжеволосую красавицу восточного типа — канадскую студентку Симону Тиру. Чем-то она напоминала Тицианову Лукрецию. Она была матерью сына Модильяни, о котором ныне ничего неизвестно. Об этом я узнал уже в 60-е годы из книги Жанны Модильяни — дочери художника и Жанны Эбютерн.

Жанну Эбютерн в 1917 году привел в «Ротонду» друг ее детства, математик и философ Виктор Розенблюм, высокий, худой, похожий на Дон Кихота. Первым, к кому он ее в «Ротонде» подвел

и с кем познакомил, был я. Дело в том, что с Виктором я был давно дружен. Через неделю после приезда в Париж какой-то русский студент повел меня обедать к матери Виктора. Она давала домашние обеды поэтам, художникам, русским и французским студентам. У Виктора была сестра Анюта, которая впоследствии вышла замуж за одного из «сотрапезников» — Станисласа Фюме. Там же обедал и брат Жанны, художник Андре Эбютерн. Семьи Эбютерн и Фюме дружили<sup>21</sup>.

Для Франции это необычно, но я, иностранец, был вхож в семью Фюме, дружил с тремя их детьми. Глава семьи — композитор Фюме — играл на органе в одной из церквей. Старший сын Станислас был поэтом, писал статьи об искусстве. Он оставил воспоминания о Модильяни, которым вполне можно доверять. Второй сын, Рафаэль, был пианистом. Мать и младшая сестра часто ходили на симфонические концерты. Я их сопровождал. В семье Эбютерн я не бывал. Знаю только, что отец Жанны служил бухгалтером, слыл человеком начитанным. Дружба и даже родство архикатолических семей Эбютерн и Фюме с Розенблюмами объясняется тем, что брат и сестра Розенблюмы перешли в католичество.

В тот вечер в «Ротонде» я увидел рядом с Розенблюмом тоненькую сероглазую девушку с косами, как у гимназистки. Лицо наивное, восхищенное. Восхищенное тем, что она здесь впервые увидела — всей этой богемной средой. Все ее изумляло, все было для нее внове. Она как будто опустила с неба на грешную землю.

Вскоре там же в «Ротонде» Виктор познакомил ее с Модильяни. Они очень понравились друг другу. Когда родители Жанны узнали, что их дочь сошлась с Модильяни — с нищим художником, пьяницей, да еще и евреем, они метали громы и молнии, дурно обращались с Жанной. Она тем не менее с ним встречалась и в конце концов перешла к нему жить.

До конца недолгой жизни Жанны мы дружили с ней. Мы по-товарищески симпатизировали друг другу. Я думаю, что это она склонила Модильяни к более близкому знакомству со мной. Мне она казалась похожей на птицу, которую легко спугнуть. Очень добрая, женственная, с застенчивой улыбкой, полуопущенным взглядом. Говорила очень тихо. Никогда ни глотка вина. Она была художницей, тоже рисовала меня в «Ротонде».

Модильяни умер в Париже 24 января 1920 года в больнице для бедных. Это известие принес в тот же день в «Ротонду» Кислинг. Похороны были внушительные. Я не ожидал, что придет столько народа. Мы шли из «Ротонды». Помню, что был Макс Жакоб, Франсис Карко, Виктор Розенблюм, Кислинг, Липшиц, Леметр... Его вынесли из морга, и мы пошли за гробом на кладбище Пер-Лашез. В день похорон Виктор Розенблюм, я и Леметр зашли в винный погребок и выпили за упокой Модильяни.

Жанны на похоронах не было. Ее уже не было в живых. Она покончила с собой через несколько часов после смерти мужа. В больнице ее не могли оторвать от покойного. Родители с трудом увели ее к себе домой. О дальнейшем мне рассказал на следующий день в «Ротонде» Виктор Розенблюм, вернувшись из семьи Эбютерн. Родители следили за Жанной, брат буквально не отходил от нее. Жанна всячески скрывала свое намерение. Легла в постель, а на рассвете, когда брат только отошел прилечь, она выбросилась из окна шестого этажа и разбилась насмерть. Ей не исполнилось и двадцати двух лет, она была беременна вторым ребенком, подступало уже время родов. Годовалую дочь Жанны Эбютерн и Амедео — Жанну Модильяни после смерти родителей увезли в Италию родные художника.

Жанну Эбютерн хоронили на следующий день после смерти мужа. Симона Тиру пережила их на один год.

И странно, сразу же после похорон все заговорили о художнике Модильяни, жадно бросились искать его работы, скупать их. А потом и легенды начали о нем слагать.

Я видел фильм о Модильяни — «Монпарнас, 19». Ни в одном кадре нет «Ротонды». Модильяни в фильме сидит в пивной или в ресторане «У Розали». Розали, довольно уже пожилая женщина (в фильме она совсем молоденькая), держала маленький итальянский ресторан, и Модильяни, выходец из Италии, там получал «даровые» обеды. Он расплачивался, конечно, своими рисунками, хотя для Розали они не представляли никакой ценности. А весь день с утра до самого закрытия кафе он проводил в «Ротонде», здесь он дневал и ночевал, здесь работал. И не пиво он пил, а очень острый коньяк амер пикон. Употреблял и наркотики.

Через много лет судьба вновь свела меня с семьей Модильяни — в шестидесятых годах началась моя переписка с Жанной Модильяни. Из писем и ее книг об отце я узнал, что она только

в 1929 году перебралась в Париж. Была партизанкой в годы нацистской оккупации, попала в тюрьму, сумела бежать оттуда. Ее биография полна необыкновенных приключений<sup>22</sup>.

*«Любовь и голод». «Двойное бытие». «Гатарапак».*  
*«Палата поэтов». Несостоявшийся русско-французский журнал*

Майским утром 1921 года в «Ротонде» вновь замаячила фигура Эренбурга. Прошло четыре года после того, как он вернулся в Россию. Мы вновь стали дружески встречаться в «Ротонде». Однако между нами по-прежнему происходили стычки. Расскажу об одной из них, чтобы показать, с какой легкостью нарушалось равновесие в наших отношениях. Я сидел с Диего Ривера и его женой Ангелиной Петровной Беловой все в той же «Ротонде». Толковали о монументальной живописи. На мне была элегантная шляпа из черного плюша с необыкновенно широкими полями — à la Рембрандт. Ее подарил мне на прощание художник, возвращавшийся в Англию. В ней меня рисовал Модильяни. Шляпа мне очень нравилась, она была предметом зависти всей художественной голи. К столику подошел Эренбург и как-то неожиданно пошутил: «Какая же на вас шляпа! Прямо-таки фасона «карамба» (по-испански что-то вроде «черт возьми!»). Диего Ривера с женой весело расхохотались, а я вспылil: «Ах, он думает, что я не понимаю по-испански! Хочет меня высмеять!» И недолго раздумывая, эту шутку я отпарировал по-испански, весьма грубо: «А ваша шляпа фасона...». Далее следовало смачное, неприличное слово. Помню, как в смущении опустили головы Ривера и Ангелина Петровна. Я тут же раскаялся. Но «слово не воробей...».

Вскоре после этого обмена испанскими любезностями Илья Григорьевич вынужден был уехать из Франции. Французское правительство предписало ему в течение 48 часов покинуть страну. Петиция о возвращении Эренбурга, подписанная и поданная общественными деятелями и литераторами Франции, которую я тоже подписал, не возымела никакого действия. Эренбург подался в Бельгию, а затем в Берлин.

А шляпу в конце 1921 года у меня выпросил Сутин:  
— Какая шляпа! Подари ее мне!

— А я в чем останусь?

— Найдешь себе другую.

Я не смог ему отказать, ведь я дважды и подолгу жил у него в мастерской.

В конце 1916 года, когда я выступил с чтением своих стихов у Н. М. Минского, он посоветовал мне издать в Париже книгу. А в 1917 году такой же совет я получил от Николая Гумилева. Офицер, он служил тогда в Российском посольстве у генерала Игнатьева. Я принес ему три своих стихотворения в рукописи. «Да вы акмеист», — сказал Гумилев, прочитав. Я, конечно, тут же возразил, что никогда, мол, не был ни символистом, ни акмеистом, не причисляю себя ни к какой школе, у меня своя школа. Гумилев рассказывал, как вскоре после окончания гимназии впервые приехал в Париж, посещал Сорбонну. Жил как бедный студент, голодал. В 1908 году издал в Париже книгу стихов.

В том же году я начал готовить книгу. Художник из Англии Гольдберг сделал обложку. Но, к сожалению, из этой затеи тогда ничего не вышло — не хватило денег. И только в 1920 году я смог наконец издать в Париже книгу стихов «Любовь и голод»<sup>23</sup>. Иллюстрировали ее художники «парижской школы» — Осип Цадкин, Антонио Симонт, Ортис де Сарате, Оттон ван Рейс. Художники выполнили гравюры на дереве, а после издания книги уничтожили доски, чтобы оттиски были равноценны оригиналу. Одна из гравюр ван Рейса сделана им по прекрасному рисунку дочери — Адитии ван Рейс, умершей в восьмилетнем возрасте. Это была бескорыстная помощь художников, так как без их работ французы едва ли заинтересовались бы книгой стихов на русском языке.

Среди других я преподнес книгу Мережковскому и Бальмонту. Мережковский<sup>24</sup> назвал ее «человеческим документом», а Константин Дмитриевич откликнулся письмом:

1921. 21 мрт  
Пасси

Monsieur Marc Taloff  
9, rue Joseph Bara,  
Париж, VI

Дорогой Поэт,

Спасибо за изящный экземпляр Вашей интересной книги. Я буду о ней говорить в той статье, которую готовлю для Le Nouveau Monde.

В среду я не буду дома. Скажите сеньору Lozano, что я буду ждать его в четверг в 5 ч.д. и буду рад говорить с ним о Мексике и о России.

До скорой встречи.

Жму руку, и всего Вам лучшего.

К. Бальмонт

P.S. Радуюсь, что переводите мои стихи.

В 1922 году здесь же в Париже вышла еще одна книга моих стихов — «Двойное бытие»<sup>25</sup>.

В первой половине 1921 года в кафе «Хамелеон» стал собираться кружок молодых русских поэтов. Название его — «Гатарапак» составлено было из имен основателей (Гингер А., Талов, Парнах). Встречи проходили раз в неделю. Читали и обсуждали стихи членов кружка, а также поэтов, живших в России. А в августе 1921 года по примеру французских собратьев<sup>26</sup> мы создали литературно-художественное кабаре. Инициаторами были Г. Евангулов, В. Парнах, А. Гингер и я. По моему предложению назвали кабаре «Палата поэтов». Вскоре мы приняли в «Палату» С. Шаршуна, немного позже М. Струве и Б. Божнева. Собирались в том же кафе «Хамелеон». На стенах поместили портреты четырех «учредителей» работы С. Судейкина. Постоянными посетителями стали Дон-Аминадо, Б. Поплавский, В. Познер, С. Судейкин, Л. Гудиашвили, Е. А. Зноско-Боровский, С. Юшкевич, Н. Инбер, другие поэты, художники, актеры, музыканты. Читали стихи, выступали с докладами о творчестве Н. Гоголя, А. Блока, Н. Гумилева.... В. Парнах показывал новые танцы, читал лекции о джазе, исполнял песни и романсы. Евангулов предложил устраивать аукционы рукописей стихов. Художники украшали эти рукописи графюрами. Один за другим прошли вечера Евангулова. Парнаха, мой, Шаршуна<sup>27</sup>.

В августе 1921 года ко мне обратился директор нового издательства «Франко-русская печать» О. Г. Зелюк. Мы были знакомы еще по работе в газете «Одесский листок». Зелюк предложил мне подобрать сотрудников и редактировать новый литературно-художественный журнал. Я дал свое согласие при условии, что журнал будет выходить под эгидой «Палаты поэтов». Я тотчас же списался с К. Д. Бальмонтом, с Жаном Кассу<sup>12</sup>, И. Эренбурггом, переговорил

с Парнахом о полученном предложении. Бальмонт и Эренбург тут же откликнулись письмами.

St-Brevin-les-Pins. 1921. 31 авг.

Paris  
M-r M. Taloff  
9, rue Joseph Bara

Я с удовольствием приму участие в журнале, о кот. Вы пишете. Но вы не сообщаете, какие именно задачи журнала, — чужд ли он политике, или какой именно держится точки, — а также, на каких условиях осуществляется сотрудничество. Сообщите. И я могу тогда послать Вам стихов.

Всего наилучшего.

К. Бальмонт

37, rue de Luxemburg  
Blussel  
3 сентября

M-r M. Taloff  
9, rue Joseph Bara  
Paris 6-e

Уважаемые братья,

Посылаю при сем стихи поэтов: Марины Цветаевой, Веры Ильиной, Бориса Пастернака, Рюрика Ивнева, Сергея Буданцева, мои — по 2 каждого, всего 12. Все стихи с рукописей, нигде напечатаны не были (и подлежат понятно оплате) [...] Если журнал Ваш аполитичен абсолютно, то Вы можете поставить среди сотрудников поэтов, стихи которых я Вам посылаю, и меня. Стихов Есенина свободных у меня также уж не осталось. Статью о новой русской поэзии я могу Вам написать, но для этого, пожалуйста, укажите точно число строк [...]

Душевный привет!

Ваш Эренбург.

P.S. Корректуру стихов пришлите мне! Э.

Прислали материалы Жан Кассу, Дюамель, Макс Жакоб, откликнулись художники... Однако из затеи с журналом ничего не вышло. Зелюк неожиданно решил передать его редактирование А. А. Кайранскому. С этим «Палата поэтов» согласиться не могла, опасаясь, что под редакцией Кайранского, крайние политические взгляды которого были известны, журнал примет неприемлемую для нас политическую окраску.

*На родину — через Берлин. Алексей Ремизов.  
Переписка с Максимом Горьким*

Итак, в 20-е годы я уже не был ни бездомным, ни безвестным, но тоска по родине не оставляла меня ни на один день. Однако французское правительство крепко держало россиян, не выпуская их за пределы страны. Франция не признавала Советской России и всеми «русскими» делами по-прежнему занимался посол Временного правительства. В Германии же было советское полпредство. Наконец в мае 1922 года удалась моя очередная попытка выехать из Франции. Пришлось пойти на уловки. Раздобыв фиктивную командировку для закупки русских книжных новинок, выпущенных в свет берлинскими издательствами, я не без труда получил в посольстве Временного правительства паспорт сроком на три месяца, а в нем и необходимые для поездки в Германию визы<sup>28</sup>.

В Берлин я прибыл утром 10 мая 1922 года. В тот же день Парнах, бывший уже здесь, повел меня в «Романише» — кафе у самого Зоологического сада. Это кафе было подобно «Ротонде»: в нем собиралась немецкая и иностранная художественная богема. Правда, здесь было гораздо чище. В «Романише» я встречал Цветаеву, Белого, Есенина с Айседорой Дункан. Виктор Михайлович Чернов пригласил меня за свой столик, мы беседовали, и я понял, что он читал книжки моих стихов, уважал во мне поэта. Тут же бросился в глаза знакомый силуэт Ильи Эренбурга. Он представил меня своей жене — Любви Михайловне, и другой даме — кажется это была Эльза Триоле. Илья Григорьевич тотчас спросил, привез ли я французского табаку, хотя бы на одну трубку. С удовольствием я дал ему нераспечатанную пачку. С первой же затяжкой он, казалось, вдохнул в себя воздух любимой Франции. Узнав, что я собираюсь вернуться в Россию, Эренбург живо откликнулся: «Очень хорошо, что вы возвращаетесь. Культурных людей там мало, в них очень нуждаются».

В Берлине я познакомился и часто общался с итальянским футуристом Вазари — другом Маринетти, его представителем в Берлине. Ему нравилась моя проза.

Здесь следует разъяснить возникшие передо мной в Берлине трудности. До нас, живших во Франции русских дореволюционных эмигрантов, не доходили постановления, издававшиеся

в РСФСР. Поэтому мы не знали, что 1 июня 1922 года истекает срок, до которого следовало явиться в Советскую миссию. После этой даты мы потеряли все права на гражданство: въезд в Советскую Россию нам был закрыт. То, что фактически мы не могли воспользоваться правом подачи заявлений о гражданстве из-за отсутствия во Франции полпредства, не принималось в расчет.

В консульство я ходил, как на службу. Коридоры были заполнены жаждавшими возвращения на родину. Когда же я наконец добрался до консула, он уже ничем не мог мне помочь. Анкету мою он принял и посоветовал набраться терпения: ответ придет не раньше, чем через полгода. А я не мог столько ждать, срок моего паспорта истекал и, что гораздо хуже, деньги мои ощутимо таяли. Нависла угроза нищеты, голода. Деньги были на исходе, я зажал их в кулак. Перестал посещать литературные кафе, не встречался больше ни с Парнахом, ни с Эренбургом. Подумал, что помочь мне мог бы Антонов-Овсеенко\*. Адреса его я не знал, однако письмо отправил, надписав его так: «РСФСР. Москва. Товарищу Антонову-Овсеенко». Ответа я так и не дождался<sup>29</sup>.

В Берлине я подружился с Алексеем Михайловичем Ремизовым, был у него частым гостем. Переписываться мы начали, когда я жил еще в Париже. У Ремизова я познакомился с Андреем Белым, с Соколовым-Микитовым\*\*. Алексей Михайлович часто расспрашивал меня о путях, ведущих в католическую церковь, о тех «камушках», по которым я в нее пришел. Он хотел принять католичество<sup>30</sup>.

Отчаявшись из-за того, что застрял в Берлине, я поделился своим горем с Алексеем Михайловичем. Он посоветовал обратиться к Максиму Горькому, который жил в это время в Германии, в курортном местечке Свинемюнде. Сердобольный Ремизов дал мне адрес Алексея Максимовича, прибавив: «Горький вам непременно поможет». По правде говоря, я не надеялся, что Горький мне ответит, но тем не менее обратился к нему с письмом<sup>31</sup>. Какова же

---

\* М. Т. несомненно знал, что Антонов-Овсеенко руководил арестом Временного правительства, занимал в РСФСР высокие посты.

\*\* Через тридцать с лишним лет, встретившись в Москве, М. Т. и Соколов-Микитов очень обрадовались друг другу. Но так и не припомнили, где они раньше виделись.

была моя радость, когда уже на третий день хозяйка, у которой я снимал комнату протянула мне письмо со штампом Swinemünde. Вот это письмо и записка к нему:

г. Марку Талову

Прилагаемую записку отнесите в миссию т. Лутовинову и, вероятно, он Вам поможет уехать в Россию

Всего доброго

А. Пешков

Тов. Лутовинов!

Не можете-ли Вы Марку Талову, поэту, перебраться в Россию?

Если можно — будьте добры сделайте это!

Жму руку.

М. Горький

6.VII.22

На радостях я стал объяснять хозяйке, что письмо это пришло от Максима Горького. Позже мне пришлось слышать, как она делилась с кем-то: «Представьте, наш жилец переписывается с самим Максимом Горьким!» Меня даже пригласили на свадьбу хозяйской дочери.

*Дорога на родину. Москва—Одесса—Москва.  
Я — советский служащий*

Лутовинов, к которому адресовался Горький, был в отъезде, моим делом занимался консул Фомин. Он отнесся ко мне с человеческой симпатией, спросил, есть ли у меня деньги. Денег оставалось совсем немного, продержаться я мог бы только, если отъезд не затянется. Фомин обещал меня отправить через семь-восемь дней. «Не на ваш счет... Но само собою разумеется, и не на наш... Мы вас внесем в списки военнопленных. На вопросы немецких властей отвечайте, что вас взяли в плен в Луцке. Между правительствами РСФСР и Германии заключено соглашение о порядке обмена военнопленными. Вы сможете беспопытно перевезти все свое имущество». Мое имущество состояло из чемоданчика с бельем и огромной корзины, набитой книгами.

Наш эшелон отправился в конце июля. Длительная остановка в Ковно. Здесь, в столице Литвы, жители выглядят обнищавшими. Солдаты, лениво охранявшие железнодорожные пути и склады, худые простоволосые, босые или в обмотках, побирались вдоль нашего состава. Им подавали, кто что мог, — кусок хлеба или щепотку табаку. Наконец, Себеж — первый советский пограничный городок. Мы высадились. Солдаты из нашего эшелона падали на колени и целовали родную землю. Тут же нас пригласили на митинг. Местные власти приветствовали нас обязательным ассортиментом речей по случаю прибытия на родину. Наконец мы снова расселись по вагонам. В нашем купе мы не досчитались двух весьма любезных и остроумных попутчиков — царских офицеров. По неизвестным причинам оба были арестованы. В Великих Луках нас ждал десятидневный карантин. Нас разместили в казармах на нарах. Непонятен был смысл карантина — среди нас не было заразных больных, а в России тогда легко можно было подцепить тиф или дизентерию.

И вот наконец каждый из нас мог выбрать желаемый дальнейший маршрут. Я и поэт Валентин Парнах выбрали Москву. Парнах тоже ехал как военнопленный. Как и я, он опоздал обратиться в Российское полпредство. За него ходатайствовал Эренбург. Евангулов и Шаршун, добравшись до Берлина, так и не смогли вернуться на родину. Если не ошибаюсь, тем же поездом, что и мы, разумеется, в другом вагоне, ехал в Россию А. Толстой.

В Москву я приехал 7 августа. Раздал адресатам письма, которые привез из Франции: В. Брюсову от Рене Гиля, Городецкому от Шагала, позднее в Петрограде А. Ахматовой от Кузьминой-Караваевой, Осипу Брику и Анатолию Мариенгофу — от Шагала. В. Парнах вез с собой в Россию все джазовые инструменты — саксофоны, барабаны и т. д. Я помогал ему. По приезде он пошел к своему другу Мейерхольду, и в спектакле «Трест Д. Е.» в России впервые заиграл джаз.

В начале октября я уехал в свой родной город — в Одессу. Я радовался здесь каждому булыжнику мостовой, каждому дереву акации, каждому дому, где столько лет ждали моего возвращения родные. В Одессе я женился и оставался там полгода. Был принят в Одесское товарищество писателей<sup>32</sup>, печатал свои стихи и очерки в газетах, в сборнике «Культура». Но жизнь наша в Одессе была не устроена, я никак не мог найти работу. Мы решили вернуться

в Москву. Мой шурин, журналист Антон Сигизмундович Ловенгардт<sup>33</sup> снабдил меня письмом к своему давнишнему другу, ректору Московского института журналистики Константину Петровичу Новицкому.

В Москву мы прибыли 1 мая 1923 года. Улицы и площади были заполнены народом. По всему городу на временных помостах выступали с речами видные вожди партии. Трамвайное движение было перекрыто. Пешком мы добрались до Первого дома Советов (теперь гостиница «Националь»), где жили Новицкие. Пожилой седобородый человек смотрел на нас поверх пенсне, пытаясь по нашему виду угадать, зачем мы явились. А вид у меня был аховый: из котомки, которую я держал в руках, выглядывала керосинка. Новицкий стал расспрашивать, с кем я был связан в Париже. Я назвал несколько имен. «Один из ваших товарищей живет этажом выше. Он секретарь Краснопресненского райкома. Если он поможет вам с жильем, я смогу направить вас в редакцию профсоюзной газеты. У меня как раз просят рекомендовать литсотрудника». Этим товарищем оказался Гриша Беленький, который в Париже работал вместе с Антоновым-Овсеенко в редакции «Нашего слова». С его помощью мы действительно получили маленькую комнатку. От мебели, которую мне тоже предложили я отказался, — это была конфискованная мебель.

Новицкий же направил меня в редакцию газеты «Голос текстилей». Там я работал за десятерых — правил материалы, писал статьи, держал корректуру, консультировал рабкоров. В разное время я был литсотрудником или выпускающим в «Рабочей газете», в «Московской деревне», в «Гудке», в «Железнодорожном пролетарии», в других изданиях<sup>34</sup>.

Помню, в газете «На страже» редактор никак не мог заставить меня идти на стрельбище: «Не нужно мне это. В кого и когда мне придется стрелять?!». В стенгазете даже появилась карикатура: в толстовке, с руками за поясом я вопрошал: «В кого я должен стрелять?». А через два года редактора газеты расстреляли как врага народа.

*В.А. Антонов-Овсеенко*

Вскоре после моего приезда в Москву жена Новицкого Елизавета Львовна, красивая статная шатенка, отвела нас к дому, где жил

тогда Антонов-Овсеев, в то время начальник ПУРа (политуправления Красной Армии). Женщины остались внизу, а я поднялся не то на третий, не то на четвертый этаж здания, расположенного во дворе за Китайгородской стеной. Дверь открыл мне сам Владимир Александрович и, разумеется, узнал меня с первого взгляда. Да и он внешне совершенно не изменился: передо мною стоял все тот же товарищ Антон. Сперва он показался мне суровым. Я думал, что он обрадуется моему приходу, но у него глаза были какими-то отчужденными. За пять лет разлуки он заметно отвык от меня.

Я напомнил ему о письме, посланном из Берлина, с просьбой помочь выбраться на родину. Я предполагал, что он либо письма не получал, либо не имел времени на него ответить. Однако Владимир Александрович остановил меня ледяным голосом, в котором ничего не оставалось от прежней дружбы:

— Письмо я получил, а не ответил потому, что тон его мне не понравился... Зачем ты упоминаешь о работе в нашей газете? У меня создалось впечатление, что ты хвастаешься...

Выслушивать эти упрёки со стороны человека, прекрасно знавшего меня, было больно, тем более, что у меня и в мыслях не было хвастаться чем бы то ни было, когда я ему писал.

— Ты меня обижаешь, — с горечью ответил я. — А знаешь ли ты, как трудно мне было выбраться из Парижа в Берлин? Знаешь ли ты, что я был на краю нищеты, когда проживал последние дни, что это отчаяние заставило меня вспомнить нашу совместную работу... Если бы не Максим Горький... Мне лучше уйти... И я повернулся к лестнице.

— Ну вот, обиделся! — повернув меня к себе лицом, проговорил Владимир Александрович. И я увидел прежнего товарища Антона, дорогого мне откровенного человека, умеющего со всей доверчивостью привязаться к другу. — Брось сердиться, ну, показалось мне... Оставь черные мысли. Лучше зайдем ко мне побеседуем... Я вижу, ты тот же, что и был, — на языке у тебя то же, что и на уме!

Однако зайти к нему я не мог, так как помнил, что внизу меня ждет жена и добрая душа — Елизавета Львовна Новицкая, а войди я, наша беседа могла затянуться очень надолго. Мы с ним продолжали обмениваться воспоминаниями, стоя на лестничной площадке. Он расспрашивал о моей парижской жизни с того дня, как мы расстались, интересовался, как я устроился в Москве. Разговор

затянулся, и наконец я сказал товарищу Антону, что внизу меня ожидают.

— Что же ты сразу не сказал, что пришел не один?! Не по-рыцарски ты обошелся со своими дамами! Ну, дорогу ко мне ты теперь знаешь, заходи...

Выбраться к нему в ближайшее время мне не удалось, т. к. я работал в газете с десяти утра до восьми или десяти вечера. Когда же через год я нашел себе другую работу, менее изнурительную, и мог бы навестить Антонова-Овсеевко, оказалось, что он послан полпредом сперва в Чехословакию, затем в Литву и Польшу. Следующая наша встреча произошла лишь через двенадцать лет, уже после того, как он вернулся на родину и получил назначение на пост прокурора РСФСР. Из дневника:

«23 марта 1935 г. Сегодня я был у Антонова-Овсеевко. В последний раз мы виделись в мае 1923 года. Когда я увидел его теперь, я ужаснулся — до того он постарел. Весь — белый! Он встал из-за письменного стола, подошел ко мне, протянул руку, а я ему:

— Ты ли это? Как же ты состарился!

Он обиделся:

— Нахал ты! Я себя стариком не считаю... А ты — молодец! Однако посмотрим, пройдет немного времени и, может статься, ты будешь выглядеть хуже, чем я!.. Он спросил меня, что я делаю. Я рассказал, что семнадцать лет работал над книгой стихов Малларме, что я его всего перевел<sup>35</sup>. «Вот это — молодчина! Это — работа!». Говорили о Гюго, о Свинберне. Я сказал, что все собирался писать ему в Варшаву, хотел просить выслать мне Свинберна.

— Ну да, как же, стал бы я тратить валюту на Свинберна!

Он очень хвалил Шенгели, назвал его мастером стиха. Сказал мне, что работает по двадцать часов в сутки. Я попросил подарить мне книгу его воспоминаний.

— Все разошлось, у меня остался только один экземпляр!

Мы с ним разговаривали больше часа.

— Десять лет я был за границей! — сказал он мне на прощание. — Ну, присылай свои стихи, как только выйдут! Не забывай!

В последний раз я виделся с Владимиром Александровичем вскоре после его возвращения в Советский Союз из Барселоны.

Он был народным комиссаром юстиции РСФСР. Мы с женой пришли к нему в самом начале октября 1938 года.

— Как жаль, что я не попросил тебя приобрести двухтомник Кальдерона! Мне так нужно для работы! — сказал я, забыв о своем фиаско в 1935 году. Владимир Александрович привел тот же довод — он никогда не занимался частным благотворительством за счет государства, был безукоризненно честен.

Мы заговорили о Сталине. Он верил Сталину. Сказал тогда:

— Есть у нас человек, который вполне заменил Ленина. Этот человек — товарищ Сталин.

До ареста Антонова-Овсеенко, рыцаря и солдата революции, оставалась всего одна неделя...

### *Осип Мандельштам*

Моя журналистская деятельность продолжалась до 1934 года. Время от времени я продолжал писать стихи, но никуда их не предлагал, писал для себя. Неожиданная встреча изменила мою жизнь. В начале 30-х к нам домой явился незнакомый человек и спросил, действительно ли я переводил Стефана Малларме. Я ответил утвердительно. «Откуда вам это известно?». Он представился: «Игорь Поступальский», — и рассказал, что в Ленинграде готовится к изданию антология французской поэзии под его редакцией, что он собрал почти все материалы, и остановка лишь за несколькими поэтами, которые у нас представлены лишь двумя-тремя стихотворениями. Поступальский обратился к Осипу Мандельштаму с просьбой сделать переводы из Малларме. В ответ услышал: «Зачем я стану переводить, если Талов, есть такой поэт, перевел почти всего Малларме». Мандельштам хвалил мои переводы и дал Поступальскому мой адрес.

И. Поступальский был очень удивлен, почему я не занимаюсь переводами, зачем растрчиваю себя, работая в газетах. Сам он переводил и редактировал переводы поэзии с украинского и других языков народов СССР, переводил и западно-европейских поэтов. Он дал мне на пробу несколько переводов. Они получились, и я неплохо заработал.

Поступальский взял у меня переводы Малларме, но антология так и не вышла. А в 1933 году издательство ACADEMIA выпустило «Избранные стихотворения» В. Брюсова. В примечаниях, написанных И. Поступальским, появился мой перевод стихотворения Мал-

ларме «Окна». Это окончательно решило мой выбор. Я оставил службу в газетах и посвятил себя переводу поэзии. С подлинников переводил стихи европейских поэтов — французских, итальянских, английских, испанских, чешских, словацких, португальских<sup>36</sup>. Переводил болгарских, румынских, украинских, белорусских, грузинских, армянских поэтов... Делал поэтические передачи для радио, редактировал чужие переводы. Когда это становилось непременной потребностью, писал стихи. Для себя. Не выступал с ними, не пытался их публиковать. Читал только самым близким друзьям, среди них Осипу Эмильевичу Мандельштаму.

С Осипом Мандельштамом я познакомился вскоре по приезде. Это было в Доме Герцена, где он жил. Я выступал там со своими стихами, а представил меня Осипу Эмильевичу Валентин Парнах. Интересно, что на том же литературном вечере я повстречал С. В. Коханского — моего первого литературного наставника, на суд которого мальчишкой в Одессе я носил раз в неделю свои первые стихи.

Речь свою я тогда постоянно пересыпал французскими словами и фразами. За девять лет жизни во Франции я основательно подзабыл русский язык, думал по-французски, не всегда мог найти нужное русское слово. На это Мандельштам заметил: «Э, да вы могли бы с таким парижским произношением выступать в качестве конферансье!». Парнах прыснул со смеху, а мне стало неловко, и вскоре я с ними расстался. Такова была моя первая встреча с Мандельштамом.

В начале 30-х, после переезда Мандельштамов в Москву мы встречались с Осипом Эмильевичем почти каждый день. Мы часто ходили друг к другу в гости. «Не все вы к нам, и мы к вам», — приговаривал Осип Эмильевич\*.

13 апреля 1931 г. Сегодня Мандельштамы пришли к нам в гости. Мы говорили о французских поэтах, о жизни богемы. Под конец я попросил Осипа Эмильевича сделать надпись на его книге «Стихотворения», изданной в 1928 г. Он сделал это охотно: «Марку Владимировичу Талову на память о галльской беседе. О. Мандельштам. 13.IV.31.».

---

\* М. Т., к сожалению, не написал воспоминаний об О. Э. Мандельштаме. Сохранилось лишь несколько записей в дневнике.

9 июля 1932 г. Были в гостях у Мандельштамов, я и Эрна. Надежда Яковлевна подарила мне «Иллиаду» в переводе Леконта де Лиль. Приди мы чутьчку раньше, встретились бы с Анной Ахматовой. В первый раз мы увидели сегодня Клюева. Впечатление довольно странное. Мне сперва показалось: не Распутин ли передо мною. Патриархальная борода не то богатого крестьянина, какого-нибудь Фрола, не то чернеца и интригана типа Мисаила из оперы Мусоргского, не то чернокнижника.

Когда Клюев ушел, и остались только мы и Квятковский, Осип Эмильевич захотел поделиться своей библиофильской радостью — показать недавно приобретенное им первое издание книги Языкова. Он перерыл свою небольшую библиотеку и заволновался: «Нашел же у кого взять Языкова!» — с горечью выкрикивал он. Долго перебирал он имена своих знакомых, вероятных похитителей, и, наконец, остановился на имени ленинградского переводчика М.: «За ним это водится!». Испортилось все очарование встречи. Нам было досадно и неприятно.

Через три дня случайно на Тверском бульваре встретил Осипа Эмильевича. Спросил, нашлась ли книга. Его предположение оправдалось: книгу действительно взял, не спросясь, М. «Вот никогда не подумал бы, что такой джентльменистый человек может заниматься таким делом — взять, авось не заметит мил-друг, а если и заметит, не припомнит, кто взял!» — возмущался Осип Эмильевич.

18 октября 1933 г. Днем мы были у Мандельштама. Он меня огородил новостью, которая уже перестала ею быть. Оказывается месяц-полтора тому назад в «Правде» была опубликована статья, шельмующая его, Мандельштама как «классового врага». В «классовые враги» с ним попали Клычков, Клюев, Ахматова и еще какой-то ленинградский поэт.

Мандельштамы на новой квартире, своей, собственной, из двух комнат с передней и кухней. Библиотечные полки Осип Эмильевич построил довольно примитивно: с двух сторон положил кирпичи, прикрыл доской, на доске снова кирпичи, снова доска — так он оборудовал несколько рядов. А вообще в квартире пустые стены. Нет у него денег на мебель первой необходимости.

Я дал Мандельштаму прочитать написанную мною эпиграмму на А. М. Эфроса. Спросил О. Э., писал ли он когда-нибудь эпи-

граммы: «Никогда». Затем мы вспомнили блестящую эпигramму Баратынского — «Эпигramму хохотунью».

Мне жаль Мандельштама. Он очень большой поэт, а его стихотворения не печатаются. Просто заговор молчания. Он резко отозвался об оргкомитете писателей и о Горьком.

Я всегда приятно чувствую себя в его обществе. Люблю его и ценю.

22 августа 1934 г. Был у Эренбурга, недавно вернувшегося из Парижа. Заговорили об Осипе Мандельштаме, недавно высланном из Москвы. Эренбург его видел в Воронеже в удовлетворительном состоянии. «За стихи против Иосифа Виссарионовича», — на мой вопрос о причинах ссылки ответил Эренбург.

*Попытки издать «своего Малларме».*

*Встречи с Л. Б. Каменевым. Все под «богом» ходим*

9 октября 1933 г. — Сегодня был в издательстве ACADEMIA у Льва Борисовича Каменева. Увидев его, был поражен его необычайным сходством с французским поэтом Эредиа. Вошел я с некоторой робостью: ведь что ни говори, а передо мной сидел весьма видный деятель компартии. Передал Каменеву образцы моих переводов Малларме, оставил составленный мною план издания.

17 октября 1933 г. Приехал в издательство к Каменеву. Тот сказал, что переводы мои ему понравились, он согласен принять в портфель издательства мою книгу. Я ушам своим не верил. На прощание Каменев просил принести ему книгу стихов Малларме в подлиннике. Ему все же хочется сверить переводы с французским текстом.

16 ноября 1933 г. Дело с изданием Малларме заглохло неизвестно по какой причине. Секретарь Каменева Надежда Григорьевна: «Лев Борисович находит ваши переводы прекрасными, издательство решило привлечь вас к работе».

23 декабря 1934 г. Сегодня из газет я узнал об аресте и высылке из пределов Московской области Льва Борисовича Каменева. Что за метаморфоза? Все под «богом» ходим.

24 августа 1936 г. Сообщение в «Правде» о расстреле шестнадцати. Ничто «хозяину» не в состоянии помешать.

31 октября 1936 г. ... Тьма новостей. Игорь Поступальский, Павел Зенкевич, Владимир Нарбут и Шлейман сосланы. «Хозяин»,

как добрый дедушка, хватает из мешка то одного, то другого. Хватает и сажает, либо ссылает, либо и того хуже...»<sup>37</sup>.

Я вел замкнутую жизнь, старался меньше попадаться на глаза знакомым и даже друзьям, жил затворником. Занимался самообразованием. Изучал русскую и западно-европейскую поэзию — средневековую и периода Возрождения<sup>38</sup>.

*Илья Эренбург. Начало войны. Встреча с Мариной Цветаевой. Осень 1941-го в Москве*

Первая встреча с Ильей Эренбургом после моего возвращения случилась на Тверской улице в 1928 году. Узнав меня издали, он бросился ко мне, обнял, улыбается удивленно: «Вы разве живы?!». «Как видите». И он рассказал, что в Париже пошли слухи, будто меня большевики расстреляли. В некоторых изданиях даже некрологи были напечатаны. «Как только поеду в Париж, огорошу их известием, что вы живы!» — не переставал удивляться Илья Григорьевич.

С тех пор я часто бывал у Эренбурга, когда он приезжал в Москву. Если он оставался здесь лишь несколько дней, был очень занят, говорили по телефону. Говорили о многом, перескакивая с предмета на предмет. Вспоминали Париж 1914 года, наших общих друзей, говорили о французских поэтах, выдвинувшихся в последние годы, о судьбах эмигрантов: «Дилевский окончательно опустился... То же Издебский\*...» Позднее рассказывал, что стал знаменитым Цадкин, его произведения берут нарасхват. Многие пишут воспоминания. «Маревна тоже написала книгу. На все она смотрит под эротическим углом. Ее интересует, кто с кем спал, такой уклон. Но картины Парижа она передала верно...»

Я рассказывал ему о своей работе над переводами. Эренбург записал мне свой парижский адрес: «Пишите постоянно, в чем вы нуждаетесь. Я буду посылать вам книги, которые понадобятся для работы, постараюсь раздобыть. И вообще буду рад нашей переписке». Я чувствовал, что Илья Григорьевич относится ко мне очень

---

\* Издебский был посредственным скульптором и первоклассным дельцом. В Париж попал до первой мировой войны (Прим. автора).

дружелюбно, и мне было жаль, что в Париже я слишком легко шел на размолвки с ним.

Я не писал ему в Париж. Наступили тяжелые годы репрессий.

Перед самой Великой Отечественной войной Эренбург переехал в Москву. Ему удалось выехать из оккупированного Парижа. Гитлеровцы не тронули его, так как у нас были с фашистской Германией договоры о дружбе и ненападении. Эренбург рассказывал о нацистских офицерах, которых он наблюдал в последние месяцы в Париже. Говорил, что написал роман о нашествии гитлеровцев на Францию, что почти готов второй роман, продолжение первого, но публиковать их сейчас никак нельзя. Он имел в виду отношения, сложившиеся перед войной между СССР и Германией. После нападения Германии на Советский Союз появился его роман «Падение Парижа», а потом «Буря».

Илья Григорьевич был незаурядным публицистом и новеллистом, но всегда оставался по преимуществу поэтом. Как-то я застал у него Веру Михайловну Инбер.

— Давайте, — проговорил он тихим голосом, улыбаясь, — прочтем друг другу наши грустные стихотворения.

«Грустные» значило лирические. В те годы слово «лирика» тотчас же настораживало.

Как-то заговорили с Эренбургом о Максиме Горьком. В наши молодые годы он был кумиром русской интеллигенции. В своих отношениях к его творчеству я давно уже произвел переоценку. «Клима Самгина» так и не осилил, да и ранний романтический Горький меня уже больше не захватывал. Однако я искренне уважал и любил его, всю жизнь чувствовал благодарность за помощь в возвращении на родину.

Эренбург считал, что основная вина Горького перед советской литературой — это предложенный им на Первом съезде писателей метод «бригадничества» в литературе: «Если бы не это предложение, наша литература пошла бы по другому направлению... У Горького хороши лишь воспоминания и автобиографические повести. Помните, как он подглядел Чехова в ловле зайчиков на своих коленях? Хорошо подсмотрел и очень хорошо описал».

После капитуляции Германии московские писатели заговорили о новых веяниях и послаблениях в литературе, об основании новых издательств и журналов для расширения возможностей публика-

ций. Я тоже раз мечтался. Но Эренбург, конечно, разуверил меня в возможности какой бы то ни было перемены. В другой раз Эренбург рассказывал мне о своих впечатлениях от поездки с К. Симоновым в Париж, где они обсуждали с Буниным и Ремизовым возможность их возвращения на родину. Причем к Бунину направился Симонов, а Эренбург к Ремизову. С Буниным Эренбург не ладил. Илья Григорьевич рассказывал, что Ремизов обзавелся советским паспортом, у него в кармане уже были железнодорожные билеты, но только он собрался в дальний путь, как был опубликован знаменитый доклад Жданова. Это так подействовало на Алексея Михайловича, что он тут же билеты сдал.

Началась война. Чтобы заглушить чувство тоски и отчаяния, все более и более меня охватывающее, я что ни день ходил в группком писателей при Гослитиздате. Приходили сюда мои товарищи, на которых тоже нашла какая-то оторопь, выжидание чего-то... Мы проходили обучение по ПВХО\*. Начались дни, полные ужаса. С начала войны мы уже еле сводили концы с концами, вели полуголодное существование.

Второго августа 1941 года в группкоме я встретил Марину Цветаеву. С нею был ее сын. Как же она изменилась с 1922 года, когда я ее увидел в Берлине — ее, Есенина, Кусикова! Она была красавица. А тут я ее не узнал, удивился, когда мне указали на нее и сказали, что это Марина Цветаева. Она курила. Я смотрел на нее блуждающими глазами, на лице моем, видимо, отразилась особая мука — мука курильщика, у которого не было табака уже в течение нескольких дней. Она посмотрела мне в глаза, достала пятирублевую ассигнацию, очень деликатно и незаметно сунула ее мне в руку. «Бедненький, вам табачку хочется. Возьмите. Сейчас не время застенчивости. Все мы можем оказаться в таком же положении. Возьмите и купите табаку». Через несколько дней она с сыном эвакуировалась в Елабугу, а в сентябре мы узнали, что Марина Ивановна покончила с собой. Союз писателей «умывал руки». О ком беспокоиться? О какой-то белоэмигрантке? Ведь она не член Союза писателей, не член Литфонда. Пускай благодарит, что мы помогли ей выехать!..

---

\* Противовоздушная и противохимическая оборона.

Осень 1941 года. Враг все ближе подходит к Москве. Руководители одних предприятий, учреждений занимались эвакуацией людей, оборудования. Другие же, и таких было много, таясь, крадучись, забирая все деньги со счетов, укладывали все, что можно было уложить, покидали воровски город среди ночи после того, как днем приободряли своих сотрудников. Так поступило и руководство Гослитиздата, которое сбежало, прихватив казну, не заплатив ни гонораров авторам, ни зарплату служащим.

Как траурное платье, на всем ложилась сажа от сжигаемых документов, черный пепел закрыл небо над городом. Мы решили не эвакуироваться. Что там нас ждет? Если суждено умереть, все-таки это будет дома.

Когда началось третье наступление фашистов, населению решили отдать все запасы муки. К складам приходили с мешками кандидаты в громилы. Эти были с мукой. Их до некоторой степени удовлетворили, успокоили. Горе слабосильным. Их выталкивали из очередей. Они уходили разбитые, печальные, обреченные на голодную смерть. Мы тоже простояли несколько дней в очередях, так ничего и не получив.

Власть разбежалась, некому было наводить порядок. Было странное ощущение: ты предоставлен самому себе, над тобой никого нет, ты странно волен, неопекаем. По улице Горького целыми стадами перегоняли исхудавший скот, коровы жалобно мычали. Жаль было их, еще больше жаль было людей и, не в последнюю очередь, жаль было себя. Потом появились патрули, завешивание на ночь окон, дежурства на крышах, надолбы на окраинах, оборонительные работы, обучение добровольцев; завели продовольственные карточки, по которым первое время ничего не выдавали.

*Голод. Помощь друга. Как меня принимали в Союз писателей. Попытки опубликовать свои стихи*

Я работал по заказам радио и различных издательств. Жена была тяжело больна. Получаемых гонораров не хватало даже на квартплату и хлеб, дом почти не отапливался. Мы сидели в пальто, укутанные в одеяла; днем — без кипятка, вечером — без света, с руками, иззябшими от холода. Керосина нам не выдавали, а свет все время отключали, так как то одна, то другая семья пережигала лимит.

В марте 1942 года в сумерки шел я по улице Горького и чуть не упал на Эренбурга, проходившего мимо. Он меня узнал и слегка отшатнулся. Вероятно, мой вид его ужаснул — вид доходяги. Я еле двигался.

— Так нельзя, неразумно... — проговорил он. — Вы должны вступить в Союз. Там дают литературные пайки... Иначе вы погибните. Приходите ко мне завтра, я вам дам рекомендацию, слышите? Но нужно две. Найдете вторую?

— Конечно, — ответил я. Секция переводчиков рекомендовала меня в Союз писателей еще в марте 1941 года. Но началась война, заседания президиума прекратились, а документы куда-то увезли.

На следующий день, когда я вошел в его номер (жил он в гостинице «Москва»), на меня так и пахнуло теплом. Подошел к письменному столу, а на нем — чудные белые сухарики. Пахнет душистым табаком, он рассыпан по всему сукну: «Ведь это золото, так рассыпать его...». Страхнул табак к себе в ладонь, высыпал в карман. Илья Григорьевич тут же нашел пустую коробку, насыпал в нее табак, отдал мне. В этот день я был глубоко тронут его человечностью, сдерживаемой добротой, которую дотоле в нем не подозревал. И хотя его ждала спешная работа, он был само терпение. Написал мне рекомендацию, осведомился, смогу ли писать гривуазные песенки для наших передач на французском языке. Я обещал попробовать. Под конец, не совладав с искушением, я взял один сухарик и тут же съел его. Он тотчас упаковал все оставшиеся и отдал мне.

Ослабев от голода, весь день я лежал, а ночью, пересиливая умопомрачительные боли в желудке, шел на работу. Работал выпускающим в «Пионерской правде». Ходил, еле передвигая ноги, пошатываясь. Соображать было трудно.

Как-то в типографии ко мне подошел выпускающий «Правды» и стал уговаривать позвонить в «Красную звезду»: «Там выпускающий ищет напарника. А уж как довольны будете! Там обеды отпускаются «генеральские». На второе — жареный гусь или индейка, без отрыва талонов!».

В «Красной звезде» мне очень обрадовались, но когда заполнил анкету сказали, что штатных единиц нет.

Я вспомнил об Илье Григорьевиче. Я знал, что он постоянный сотрудник «Красной звезды». Ответ Эренбурга прозвучал похоронным звоном:

— Мысль о выпуске этой газеты вы должны отбросить. Ничего не выйдет.

Тогда я собрался с духом и обрисовал наше положение:

— Илья Григорьевич, дорогой, ведь мы погибаем... Мне тяжело говорить с вами об этом, но понимаете... в самом начале месяца я потерял обеденную карточку...

Весть о потере его ужаснула:

— Сейчас, как мне вас ни жаль, ничего не могу... Позвоните мне в начале следующей недели, я с вами поделюсь, чем только смогу.

Через несколько дней он передал мне большой пакет и повторил: «О «Красной звезде» забудьте... Ничего не выйдет...».

Развернув дома пакет, мы увидели яства, о которых мечтать отвыкли. У меня заныло в желудке, когда я вдохнул аромат, который источала роскошная селедка. Мы пожирали глазами лоснящийся кусок балыка, лососину, так что, глядя на них, я глотал слюнки. Там еще был круг копченой колбасы, свежей, пахучей, и не помню уже всего того, что было в свертке\*.

Так мы дотянули до конца месяца, когда мне уже мучительно было вставать и плестись до трамвайной остановки. Мой организм был до того истощен, что казалось, будто по венам вместе с вялой кровью течет сама смерть. А жить хотелось! Выпускать газету в таком состоянии равносильно было самоубийству, и я подал заявление об увольнении.

Вопрос о приеме меня в СП затянулся. Несмотря на рекомендации И. Г. Эренбурга и Б. В. Томашевского, под разными предлогами обсуждение то откладывалось, то Фадеев предлагал повременить с приемом, то отказывали без всяких мотивов. Так прошло несколько месяцев. После того, как в декабре 1942 года вопрос обо мне безрезультатно обсуждался в шестой раз, я решил, что больше добиваться приема в СП не буду.

Видя мое состояние, моя жена, сама еле передвигавшая ноги, доживавшая, как оказалось, последние месяцы, тайком от меня пошла в СП, чтобы объяснить с «начальством». На ее счастье при разговоре присутствовал Николай Асеев, с которым я не был

---

\* В это тяжелое время с нами также делились своими пайками латышские писатели, жившие в Москве, — Я. Я. Ниедре и Ф. Я. Рокпелнис.

даже знаком. Он попросил показать ему мои переводы, взял на несколько дней «Хрестоматию западноевропейской литературы» и «Антологию поэтов французского Возрождения». Переводы ему понравились, некоторые из них он даже переписал для себя. Асеев написал в президиум СП прекрасное письмо, лестно рекомендовавшее мою работу<sup>39</sup>. Но я настолько не верил в успех очередной попытки, что даже не отнес письмо в СП. Однако Асеев не отступился. В июне 1943 года по его настоянию, в мое отсутствие, я был принят в члены Союза прямо на его президиуме, минуя приемную комиссию. Хотя и здесь литератор Митрофанов, постоянно выступавший против меня, заявил: «Талова нельзя принимать в Союз советских писателей. Он — контрреволюционер».

Членство в Союзе спасло меня от голодной смерти, но уже не помогло моей жене — в начале 1944 года она умерла от последствий голода<sup>40</sup>.

Когда я покидал пределы Франции, я был там уже признан поэтом, даже стал таким мэтром. Вокруг моего стола в «Ротонде» собирались молодые и уже признанные поэты и художники. Вышли две книжки стихов на русском языке, мои стихи публиковались на французском, печатались рецензии. С возвращением же в Советский Союз, уже в 1922–1923 годах из-за разных взглядов на литературное творчество у меня в Одессе возник конфликт с Бабелем и Багрицким. С угрожающими нотками в голосе меня называли «белогвардейцем». Я был обескуражен. К тому же нелепая необходимость подачи о себе декларации, установленная для всех литераторов<sup>41</sup>, надолго отвратила меня от литературы. Я получил такой удар, что вынужден был стать «советским служащим», чтобы не умереть с голоду. Годы 1923–1934 меня отупили, и я уже не мыслил когда-нибудь вернуться в ряды литераторов.

Неожиданным образом в эти годы я получил напоминание о своем поэтическом прошлом. В институте Ленина я получил заказ на переводы с итальянского писем к Ленину для примечаний к одному из томов его собрания сочинений. Подходит ко мне библиограф и шепотом говорит: «Да вы, оказывается, поэт! Вот я выписал, что о вас пишут в «Русской зарубежной книге». А редактор знаете кто? Кизеветтер!» — с ужасом таким говорит<sup>25,42</sup>.

Благодаря Игорю Потупальскому я стал поэтом-переводчиком и потихоньку продолжал писать свои стихи, долго не пытаясь их публиковать. Наконец, в пятидесятые годы я отослал несколько стихотворений в толстые журналы и даже предпринял попытку издать сборник стихов — сдал рукопись в Гослитиздат. Однако всякий раз я получал отказ под предлогом «несовременности» моей поэзии. Я оставил всякие попытки что-либо публиковать, понятно, продолжая писать.

И вот после сорокадвухлетнего молчания меня случайно «открыл» Сергей Поделков, редактор «Дня поэзии — 1964», он опубликовал одно мое стихотворение. Другой толчок к моему возрождению дал Арсений Тарковский на праздновании моего семидесятилетия, где я читал свои стихи. В эти же годы я впервые публично выступил со стихами в Союзе писателей Грузии. Успех меня ошеломил. Меня объявили и «большим поэтом», и «мастером», и даже «поэтом Грузии». Последнее, видимо, благодаря стихам, посвященным Тициану Табидзе, Пиросмани и переводам из грузинской поэзии. Присутствовавший на чтении Марк Лисянский неожиданно для меня объявил, что будет добиваться издания моей книги. Я сомневался в успехе этой затеи, однако, поддавшись уговорам близких, начал все-таки готовить к изданию сборник своих стихов и переводов. Состав сборника обсуждал с И. Эренбургом. Попросил его написать предисловие и неожиданно услышал: «Я охотно написал бы его, но теперь все, что будет исходить от меня, может стать только волчьим паспортом»<sup>43</sup>.

## ИЗ ДНЕВНИКОВ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

9 января 1965 г. Часто собеседники удивлялись, как я с моей биографией уцелел, не был репрессирован. Отвечал им: «Я никуда не совался, жил затворником, старался больше сидеть дома, да и при том, я ведь был беспартийным. Время от времени меня вызывали в Союз писателей, чтобы в очередной раз спросить: «Зачем уехал? Зачем вернулся?»».

5 марта 1965 г. Узнал, что сейчас в Москве Анна Ахматова. Она остановилась в гостинице «Москва» как делегат Съезда писателей РСФСР от Ленинграда. Я ей тотчас же позвонил. Она оказалась дома и назначила час встречи [...]. Я рассказывал о своих встречах в Париже с Николаем Степановичем Гумилевым, но точно не мог вспомнить, в каком это было году — в 1917 или в 1919. На что Анна Андреевна заметила, что знает всю жизнь Гумилева из дня в день: «Вы могли его видеть в Париже в 1917 году, а в 1919 его там уже не было». Она надписала мне книгу своих стихотворений: «Марку Владимировичу Талову в мои московские дни. Анна Ахматова. 5–03.1965».

19 февраля 1966 г. Сегодня разговаривал с одной женщиной о советской литературе. Как-то пришлось, и она задала мне вопрос о Михаиле Булгакове. Я стал его хвалить, сказал, что считаю его гениальным драматургом. Она лукаво задала вопрос о Константи́не Симонове. Я отозвался отрицательно. Тогда она мне отрекомендовалась: «Я сестра Михаила Булгакова, Надежда Афанасьевна Булгакова-Земскова». Я спросил ее о загадочном романе, написанном Булгаковым, который хранит его жена и не дает никому даже для ознакомления. Она назвала роман: «Мастер и Маргарита». Затем она расспрашивала меня. Кто я? Переводчик? Я назвал себя поэтом, не напечатавшим ни одной книги со времени возвращения на родину в 1922 году. «Меня отказываются печатать», — объяснил я. «Всегда одна и та же история», — ответила Надежда Афа-

насевна. Читал ей свои стихи. Ей очень понравилось «Нико Пиросмани». Просила переписать.

17 мая 1966 г. Кирилл Михайлович Зданевич<sup>37</sup> девять лет провел в лагерях. Говорит о себе: «Чудом вернулся, чудом считаю, что написал книгу о Пиросмани, чудо, что ее издали на грузинском и на русском». Мы предавались с ним парижским воспоминаниям. Он был учеником Архипенко, хорошо знал Малевича. Кирилл Михайлович и его брат Илья первыми открыли великого грузинского художника Пиросманишвили.

4 сентября 1967 г. Сегодня хоронят Илью Эренбурга. Стоял в ЦДЛ в почетном карауле. Со мной рядом Нина Константиновна Бруни-Бальмонт. Прочувствованные слова произнес, плача, Владимир Германович Лидин, а остальные речи были слишком официальны, бесчувственны.

Я взглянул на лицо Ильи Григорьевича, и мне вдруг стало безумно жаль, что я потерял верного, любившего меня друга, спутника на всем долгом протяжении моей жизни. Тут только я отдал себе отчет, как он всю жизнь возился со мною, всячески стараясь облегчить мою долю, всегда находил слова утешения. Я как будто осиротел. Совсем недавно сказанное мною в трубку: «Всего доброго, берегите себя», — нежданно превратилось в слова последнего с ним прощания.

Встретил здесь Юру Ларина с матерью — Анной Михайловной Бухариной. «Это был наш последний друг», — сказала она мне. Илья Григорьевич и Николай Бухарин были очень дружны.

27 ноября 1967 г. На вечере в ЦДЛ по случаю моего семидесятипятилетия было много хвалебных слов. Выступали Поделков, Сергей Островой, Марк Лисянский, другие. Муся\* дословно записала выступление Арсения Тарковского: «Талов идет в поэзии забытым путем, так как сейчас в ней царствует дилетанизм»<sup>44</sup>.

Кстати, в день семидесятипятилетия получил множество поздравлений, в том числе от Луи Арагона. Он ошеломил меня тем, как обволакивающе выразился: «Пробило время, дорогой Марк Талов, пятидесятой годовщины ваших двадцати пяти лет...». Особая тонкость натуры.

25.10.1968 г. Длинный разговор с Ариадной Сергеевной Эфрон, дочерью Марины Цветаевой. Она полна благодарности к покойно-

---

\* Мери Александровна Талова, вторая жена М. Т.

му Илье Эренбургу, сделавшему очень много для популяризации стихов Марины Ивановны, и полна негодования к покойному Крученых, присвоившему не подлежащие опубликованию рукописи из архива ее матери. Эти рукописи, мошенническим образом присвоенные им, Крученых имел наглость продавать. Такие дела, насколько мне известно, водились за ним.

\*\*\*

*10 июня 1969 года Марк Владимирович скончался. До самого конца он все же надеялся, что книга его стихов выйдет, хоть и в урезанном виде. Стихотворений по заказу он так и не написал.*

*И лишь после того, как рухнула государственная монополия на книгоиздание, семья М. Талова за свой счет издала в 1995 году избранные стихи и переводы поэта.*

*Не увидел М. Т. опубликованным и свой уникальный труд — переводы Стефана Малларме. Они также были изданы семьей лишь после его смерти, в 1990 году.*

*Не пришлось ему прочесть и монографию В. Я. Виленкина «Амедео Модильяни», в создании которой он принял самое активное участие, делаясь с автором своими воспоминаниями. Монография вышла в свет в 1970 году.*

## СКАНДАЛ В «РОТОНДЕ» (зарисовка)

Стояли июльские дни, знойные и душные, но ничто в эту ночь, 14 июля 1914 года\* не предвещало приближающейся грозы. Национальный праздник разразился беззаботным весельем, неистовыми плясками на всех парижских площадях. В домах и кафе было слишком тесно возбуждению, переливавшемуся через край.

На перекрестке бульваров Монпарнас и Распай, как и в других местах, были наспех возведены деревянные подмости, на которых примостилось около дюжины музыкантов. Бурные мазурки сменялись меланхолически-томными аргентинскими танго, вихрями вальса. Танцующие рассыпались вдоль тротуаров, между платанами. К оркестру присоединились кастаньеты, которыми посетители кафе ударяли в такт. Кастаньеты заранее закупил и раздал своим постоянным клиентам владелец этого питейного заведения месье Жорж Либион. Разноцветные фонарики, конфетти, серпантин, хлопанье пробок, позвякивание бокалов, чьи-то громкие крики, шутки, суматоха. Главное, чтобы публика не скучала — его публика, составившая Либиону и двусмысленную славу и недвусмысленный капитал. Теперь он был в торжественном настроении, как и подобает истинному патриоту отечества в такой день. Праздник явно удался, он оставил далеко за собой знаменитое марди-гра\*\* с маскарадом.

За крайним столиком, почти у входа в метро, сидела компания русских художников, не принимавших участия в общем веселье. Вместе с ними — лишь полгода назад приехавший из России Поэт, лет двадцати с небольшим. Наивный новичок, не знающий жизни, без конца удивлявшийся всему, что его окружало, беспредельно веривший всему, что говорилось вокруг, обыкновенную шутку принимавший за чистую монету. Опорожнив последнюю бутылку,

---

\* День взятия Бастилии; до начала первой мировой войны оставалось две недели.

\*\* Католическая масленица.

художники ушли, не дождавшись конца праздника. Как неприкаянный, Поэт стал приглядываться к соседним столикам, ища куда бы примоститься. У самого входа в кафе мутный взор его неясно различил силуэт художника, к которому его неодолимо влекло. Неверной походкой направился он к намеченной цели.

Орава молодых людей разместилась сразу за двумя столиками. Здесь пир, казалось, только начинался. Глаза, как две черные звезды, недоуменно глядели на подошедшего. Небрежным жестом художник пригласил его сесть на свободное место. Ленивые жесты, почти театральные, нечленораздельные междометия как бы только что очнувшегося человека — таков был серафический Модильяни. Вокруг — единомышленники, готовые, как и он, отдать рисунок или эскиз картины за лишнюю рюмку. Подле него — очередная жертва его красоты, подруга Симона, или, как ее называли, Симонетта, похожая, как две капли воды, на Тицианову Лукрецию. Здесь приехавший из Польши художник Кислинг — одутловатое лицо, спадающая на лоб римская челка. С ним худенькая изящная жена, не показывавшаяся иначе, как в апашеской каскетке. Поэт и художник Макс Жакоб, принявший в свое время католичество. С неизменным моноклем в правом глазу, с благообразной плешью на угловатом черепе, он, как обычно, сыплет блестящими парадоксами. Здесь и плотный коренастый Диего Ривера, подобный ковбою, громадному, с доброй улыбкой волопасу из родной Мексики. Не уступающий ему ростом Гийом Аполлинер — мэтр, глава новых властителей умов, модных поэтов, автор нашумевшей книги стихов «Алкоголи». Рядом тонкий изящный швейцарец Блез Сандрар; изможденный, с лицом иезуита или аскета, блестящий рассказчик Андре Сальмон; изящный, элегантный, с холеной бородкой художник Серж Фера и его жена Ирена, тоже художница.

Веселая компания разгулялась вовсю. Макс Жакоб рассыпает весь арсенал своего жонглерского остроумия. Но тут чуть не по складам вступает Модильяни:

— Ты, кемперский отщепенец! Я не выношу, я презираю от всей души крещенных евреев!\*

Макс Жакоб, от неожиданности не находя ответа, выронил свой монокль.

---

\* А. Модильяни — итальянский еврей иудейского вероисповедания.

— Гарсон, — кричит Модильяни и, внезапно обращаясь к Поэту:

— Садись! Что ты воздвиг себе памятник при жизни?!

Поэт робко опускается на стул, умоляющими глазами давая понять, что он томится жадой.

— Гарсон, черт побери! — продолжает неистовствовать Модильяни, стараясь заглушить музыку отборными выражениями, — банда свиней, сволочи! Сюда плуты, развратники!

На шум, поднятый Модильяни, стали собираться другие беспокойные члены неуравновешенной семьи. Это грозило сорвать с таким тщанием приготовленный праздник. Сигнал, данный Модильяни, рикошетом отозвался в противоположном углу, за столиком, занятым печальной красавицей Маревной, поэтом Немировым, математиком Розенблюмом, скульптором из России Осипом Цадкиным, маленьким тщедушным человеком, отличавшимся необыкновенным злословием. Услышав голос Модильяни, Цадкин стал стучать тарелочкой по мраморному столику, крича по примеру учителя:

— Банда мошенников, грабители! Гарсон, сюда!

Слово «банда» перекатилось по всем столикам. Начались невообразимый стук и битье посуды. Наконец на террасе появился сам Либион.

— Что вы тут орете?! В чем дело? Вот я вас выпровожу отсюда!

— Меня выпроводить? — запальчиво отозвался Модильяни, — руки коротки, старый мошенник!

У Поэта, недолюбливавшего скандалы, задрожало робкое сердце. Он уже не рад был, что втерся в компанию Модильяни, и хотел теперь поскорее выпутаться и поискать другого, более тихого пристанища. Но стиснутый между Кислингом и Максом Жакобом должен был ждать дальнейшего развития событий. А события не заставили себя долго ждать. Либион с помощью высокого гарсона Антуана принялся изо всех сил выталкивать упирившегося Модильяни, на защиту которого стал Кислинг, тоже осыпавший Либиона градом ругани. Неожиданно Кислинг схватил порожний бокал и запустил в Либиона. По счастью, бокал пролетел мимо хозяина кафе, разбившись вдребезги о стену. Либион нахмурился, от гнева у него затрясся подбородок. Он крикнул на помощь другого гарсона, Гастона. Начался один из тех обычных скандалов, которые ничуть не удивляли завсегдатаев столь почтенного кафе.

Уронив по дороге салфетку, прибежал Гастон. Втроем они схватили Модильяни и поволокли его при криках протеста, раздававшихся за столиками. Музыка перестала играть, танцующие сбегались на любопытное зрелище.

— Негодяй, эксплуататор! Ты на нас нажил состояние! Банда мошенников! — бушевал Модильяни, которого уже почти вытолкнули в дверь. Некоторые из его друзей пошли вслед, стараясь урезонить Либиона. Но тот оставался непреклонным.

— Ничего! — огрызнулся Кислинг, — завтра, небось, позовешь нас, старый хрыч, плут монпарнасский!

— Ступай, бродяга, на все четыре стороны, вон отсюда! — и Либион дал Модильяни такого пинка, что тот, еле державшийся на ногах, растянулся во весь рост.

Поэту было жаль Модильяни, жаль себя. «Лопнул стаканчик абсента», — подумал он и вновь, как сирота, двинулся, не зная, к какому столику присоединиться, где бы, не имея ни гроша, залить тоску, мигом заполнившую все его существо.

А праздник продолжался. О скандале с Модильяни и Кислингом вскоре забыли. Кто-то хриплым голосом затянул, и все подхватили модную здесь мюнхенскую песенку:

Alle Fische schwimmen,  
Alle Fische schwimmen,  
Nur die Backfisch  
Schwimmt nicht...\*

---

\* С немецкого: «Плавают все рыбки, Плавают все рыбки, Только жареная Не плывет...». Здесь игра слов: die Backfisch — 1) жареная рыба, 2) девочка-подросток.

## СТИХИ

*Из цикла «Постижения»*

### В ПАРИЖЕ

Нет у меня ни имени, ни отчества,  
Среди чужих людей, в чужой стране,  
Себя забыл я в горьком одиночестве.  
Как холодно и неуютно мне!

В отеле грязном за холодным столиком  
Сижу, гляжу на чуждый мне камин,  
А в сердце ледяном и обезволенном  
Читаю запись страшную: «Один».

И в маленьких стенах, стенами сдавленный,  
Забыл, что счастье было. Навсегда!  
И ты, единая любовь, расплавлена,  
И от тебя ни пепла, ни следа.

Неотвратима горечь одиночества.  
Я понял, сидя в четырех стенах,  
Что у меня ни имени, ни отчества,  
Ни радости, ни родины: всё — прах.  
1913

## СОН<sup>45</sup>

Мне снились степи кочевые  
И разъяренная орда,  
Кричали жены молодые,  
В огне увидев города.

Взыграли коршуны на небе,  
И зазвенели стремена.  
Опять ты примешь страшный жребий,  
Многострадальная страна!

Шеломы и щиты блеснули,  
На лицах стариков — испуг.  
По всей Руси сермяжной в гуле  
Червонный загулял петух.

Мне стало душно. Выли жены  
Под чингисхановой доской.  
И вот, когда изнеможенный  
Взирал я на татар с тоской,

Когда я плакал от бессилья,  
Из слез моих, предсмертных слез,  
Встал Странник, весь покрытый пылью:  
— «Иду. Не бойся. Я — Христос».

1915

## КАЖДЫЙ ДЕНЬ<sup>46</sup>

*Пьеру ван дер Мееру де Вальхерну*

### I

Проигрался я в рулетку,  
как последний черт,  
и выпил за свое здоровье.  
Не помню — сколько.  
А знаю, что выпил.  
Откуда ни возьмись,  
предо мною кто-то стал,  
Кто-то сказал мне:  
— «Ты — нищий!»  
А другой, с ним шедший:  
— «Ты — пьяница!»

Почему же я почувствовал,  
что они сказали правду?  
Почему же меня хлестнула  
правда их, как бич?  
почему они ко мне пристали?  
Выпил ведь я — не они!  
Нищий ведь я — не они!  
Почему же  
я заплакал,  
как слабая нервная женщина,  
брошенная в грязном переулке.

### II

Жизнь моя сложилась грустно.  
Все мне безразлично днем.  
Была бы тоска, душевная тоска,  
но нет ее, а только скука.  
Безнадежная паутина скуки.  
Ничто мою душу не трогает,

и есть ли она вообще?  
Сердце мое так спокойно,  
словно оно никогда и не билось.  
Покой и тишина.

Но вот наступает томительный вечер.  
На улицах фонарики длинным шестом  
зацепляют реверберы\*.  
Это время, когда я вхожу в надоевший кабак,  
где лица — те же маски,  
где лживы движенья и смех,  
где сигарные дымы  
возносятся вверх,  
паруса собирают...  
Все вижу в неверном свете.  
Так сижу весь вечер напролет  
И тяну бокал за бокалом,  
с абсентом мешая вино и коньяк:  
Все примет медвежье нутро.  
Тогда приходит тоска,  
застилает глаза,  
озираясь пугливо по всем сторонам,  
как тихая девушка,  
выросшая из туманов,  
принимает образ невесты моей,  
где-то оставленной мною очень давно.

Сердце щемит тоска,  
Не отпускает меня.  
И нет ей, нет ей конца.

### III

В поздний час запирают кабаки.  
Над моей головой  
нет крыши, а есть только небо.

---

\* Отражатели.

А дружки тебя тянут  
на рынок центральный  
в ночное кафе.  
Это место ночного веселья.

Так всю ночь до утра,  
каждый день...  
А утро,  
отягощенное облаком серым,  
налегает над городом,  
измученным любовью и голодом.

У паперти церкви Святого Евстахия  
спотыкаюсь о труп  
распластавшийся женщины.  
Взяла меня оторопь  
и, охваченный ужасом, я побежал  
сам не знаю куда,  
а перед глазами она,  
с лицом перекошенным,  
с руками, накрест сжатыми  
на груди, где кровь запеклась.  
Может быть, смерть была подаянием  
за любовь и ласки.

#### IV

Светлеет.  
Зашел я далёко,  
В ушах визг трамваев,  
рожки омнибусов  
и пронзительные сирены автомобилей  
вдоль гладких парижских шоссе.  
Свет дневной бьет в глаза,  
и так больно от света глазам,  
и так больно забитой душе...  
Пьяный до мозга костей,  
В кармане ищу пистолет...

Зачем же болтаешь бесцельно,  
пьяный и глупый язык поэта?

Не менее жизни слова твои пусты.  
Ты знаешь, что нет пистолета,  
и ищешь зачем-то в кармане.  
Никогда не приложишь его  
к вискам, разгоряченным винами.  
Не приложишь его никогда  
к левому виску, где струйками,  
как молоточек, стучит беспрестанно  
возбужденная кровь.  
Она молоточком стучит:  
— «Никогда. Никогда.  
Смерть страшна.  
Ты же трус!..»

## V

О, Господи,  
когда же, когда ж это кончится?  
Весь этот базар крикливый,  
торговли на вынос  
болтливой и грешной душой?

Придет ли когда-нибудь,  
придет ли покой  
с его деревьями, с его полями,  
с его высоким лазоревым небом,  
где птичьи голоса поют и славят мир?

Но темные круги под глазами,  
Ты разве не увидел их, Господи?..  
Но в глазах Ты прекрасно читаешь  
ночные главы  
уродства и безумия,  
страницы, полные тоски  
и пьянства...

О, Господи, когда же, когда же все кончится?!

1914

\*\*\*

В эту церковь приходила Жанна  
И, главу покорно опустив,  
Здесь молилась долго, неустанно,  
В час, когда молюсь я, сиротлив.

Шепот уст. Побрякиванье четок.  
На подоле платья — пыль дорог.  
Просветленный лик твой тих и кроток.  
Скромный взгляд твой набожен и строг...

*1915*

*Из цикла «Двойное бытие»*

\* \* \*

Судьбою брошенная карта<sup>53</sup>  
Мне предсказала жребий мой.  
В Одессе в первых числах марта  
Я родился в семье простой.

Так в бысролетной вечной смене  
Всех поколений и времен  
И я восстал из царства тени,  
И жизни был я подчинен.

Пройти я должен круг нелепый  
Послушным безобидным псом.  
За то ли недруги свирепы,  
Что я иду своим путем?

У человека — тоже жало.  
Так не ужалит и змея.  
Но сердце плакать перестало  
От грубых шуток бытия.

*1916*

\* \* \*

Есть миг, когда так ясно и светло  
Свой рок я постигаю в сей юдоли,  
Когда являюсь я, как символ воли,  
И властен я творить добро и зло.

Тогда мой дух — граненое стекло.  
Он отразит и радости и боли,  
Но ничему он не причастен боле,  
Чтоб сердце волноваться не могло.

Тогда меня влечет крылатый гений  
Во мглу сокрытых, несочтенных лет,  
Где так легко, где светом дышат тени.

И в этот миг чудесных отражений  
Я все приемлю: тень и зыбкий свет,  
Неуловимый звук, незримый цвет.

*1916*

\* \* \*

— «О, Господи! Зачем познал я рано<sup>47</sup>  
Твой темный мир, который так нелеп?..  
Зачем меня загнал Ты в душный склеп,  
Где истина ходячая туманна?..

Скажи, зачем я прежде не ослеп,  
Чем видеть царство лести и обмана?  
Смотри, в моей душе зияет рана.  
На перекрестках всех ищущих Твой хлеб».

Но помыслы о хлебе и работе  
Порабощают вольный, гордый дух  
Смиренной и несовершенной плоти!

Ты молишься, а Он к молитвам глух.  
Что, плоть, тебе?.. Ты обратишься в пух.  
Не стоишь рваных ты своих лохмотий!..

*1916*

*Из цикла «Любовь и голод»*

## ОЩУЩЕНИЯ<sup>48</sup>

Весенняя земля покрылась ярким шелком  
Травы, благоухающей весь день.  
Слежу я в онеменьи долгом,  
Как шевелится тень.

Я отдых и покой даю усталым ребрам.  
Разносит ветер дух пчелиных сот.  
В приливе радостном и добром  
Моя душа растет.

Так длится пьяный сон, как обморок столетний.  
Над головой свистит все время дрозд.  
И чувства будут безответней  
До первых в небе звезд.

1917

## ТРИ ГОДА<sup>49</sup>

Присутствуя на мировом спектакле,  
Затопленном потоком черных бед,  
Я вижу, родники любви иссякли  
И длится небывалый бред.

Мне больно знать, что с каждым днем спокойней,  
Привычней людям этот смертный пир.  
Как ты миришься с европейской бойней,  
Ты, задыхающийся мир?

Как можешь ты еще служить орудьем  
В руках у тех, кем дух твой искажен?  
Как можешь ты повиноваться судьям,  
Кем попран собственный закон?

Иль сговорились все молчать упорно?  
Нет, ропщет мир. Час близок роковой,  
Когда за зла посеянные зерна  
Лжецы ответят головой!..

*1917*

## УЗЫ РОДСТВА<sup>50</sup>

Мне кажется, что вечность протекла  
Со дня, когда свой жизни круг я сузил.  
В тот вечер памятный ты подошла  
И на дорогу подала мне узел.

Последнее я слово услышал,  
А я хотел продлить слова прощанья.  
Пойми красноречивый смысл молчанья:  
Я, чтобы не расплакаться, молчал.

Да, было тягостно прощаться! Разве  
Я властен был волненье подавить?  
Сам долголетней дружбы рвал я нить,  
И никогда не затянуться язве!

Я верю глубоко, то не слова:  
Нас только смерть разъединит. Что время?  
Самоизгнания расторгну бремя!  
С тобой я связан узами родства.

*1918*

## БЕССОННИЦА

Сон не идет. Мучительно лежать.  
На все вокруг взираю безотчетно.  
Ночь наложила на душу печать,  
И губы немота склеила плотно.

Воспоминаньям поздним нет конца:  
В ушах — твой смех; я вижу ясный взор твой,  
Но смутный контур твоего лица  
Не более, как часть природы мертвой.

В безмолвии таинственных теней,  
Средь звездных тел и в доме опустелом,  
И в мире хаотических вещей  
Стал сам я неживым, недвижимым телом.

И мне условным кажется весь свет,  
Где призрачны и мысль, и осязание.  
Все существо, все естество — скелет  
Неизмеримой глубины молчанья.

*1918*

\* \* \*

*«И сердце в нас подкидышем бывает...»*

*Ф. Тютчев*

Когда, припоминая скуку дня,  
Ложусь в постель и, опустив ресницы,  
Пытаюсь я глубоким сном забыться, —  
Не посещает сон меня.

Я узнаю непрошеную гостью:  
Бессонница, войдя неслышно в дом,  
Размахивает камышовой тростью  
Над запрокинутым лицом.

Вот засыпаю... Кажется, усну!  
Ей вздумалось бить полночь мерным боем.  
А то зальется сиротливым воем  
Пса, лающего на луну.

То спрячет оборотня полотенцем,  
То заиграет месяца лучом,  
То в зеркале прикинется младенцем,  
По сердцу стукнет молотком...

Измучит неотвязчивым кошмаром  
Иль бредом разольется вдруг в мозг,  
И вот, дышать уже я не могу,  
Вся комната наполнена угаром.

Лишь в пятом иль шестом часу,  
Как зашумит дневною жизнью город,  
Рукою слабой распахну я ворот  
И засыпаю, как сова в лесу...

1918

\* \* \*

Я Вам читал стихи. Чем было позже,  
Тем все интимнее звучал мой стих.  
Полузакрыв глаза и полулежа,  
Вникали Вы в значение слов живых.

Кто знает, может быть в тот час интимный  
Я был так безнадежно в Вас влюблен,  
И это Вам душа слагала гимны,  
Создав какой-то небывалый сон?

И каждый раз, когда Вы поднимали  
Свои ресницы, я не смел дышать.  
Я Вам хотел открыть мои печали,  
Но не осмелился о них сказать.

Тем лучше. В неизвестности блаженной  
Все время буду думать я о Вас,  
Надеждой жить и верить неизменно,  
Что в жизни это был мой лучший час!..

*1918*

\* \* \*

Куришь, о трубка! Вейся, мой дымок!..  
И ты, огарок жалкий, не погасни!..  
В чужой стране тому, кто одинок,  
Умершие замените вы басни.

На всем — забвенья пыль, и я — один.  
Воспоминанья старые воскресли.  
Россия. Осень. За окном — жасмин.  
И ты сидишь, мечтательная, в кресле.

С тех пор воды так много утекло,  
И сердце ничего уже не ищет.  
Ни крошки на столе и, как на зло,  
В кармане у меня лишь ветер свищет.

Оставил где-то я веселый вид,  
Осунулся, наголодался за год,  
И горечь незаслуженных обид...  
И привкус горечи от всяких ягод!..

*1918*

\* \* \*

Поужинал я, слава Богу,  
И веселее стало мне.  
Едва набрел я на дорогу  
В полувечерней тишине.

Насвистываю тихо Баха.  
Как сладки фуги на устах!  
Что до того, что, взят из праха,  
Я обращаюсь снова в прах?

— Мне, люди, радостно! Как редко  
Я радость знал! Я жил в тоске.  
Теперь мне кланяется ветка  
И ветер треплет по щеке.

*1917*

## РОЗА-РАНА

Когда я духом рад, мне не страшна зима,  
Мне буря нипочем. Пусть в комнате огня нет,  
Что из того! Бежит пугливо тьма  
И Роза на моем столе не вянет.

А Роза ли? Быть может, это — Рана?  
Их — много! Вижу на руках Твоих,  
В ребре исколотом, и на ногах... Как странно!  
Стенаний нет... Ты недвижим и тих.

По каплям кровь стекает с лепестков  
Пунцовой Розы... Саваоф!  
Дай ключ к разгадке снов, извилистых дорог!  
Кто дьявол? Кто святой? Скажи мне!  
Я растворился в бессловесном гимне  
И кровь, стекающую с чистых ног,  
Готов лизать, как пес...

Кто эту Розу мне принес?

*1919*

*Из цикла «Камера причуд»*

ЖИВУ ГДЕ-ТО ОКОЛО РАЯ...

Лестница, узкая, кривая и крутая  
не обманет меня никогда.  
Бок о бок со мною шагая,  
она поведет туда,  
в медвежью берлогу, —  
так упорно ведет туда,  
как не вели бы и черти.  
Не угодно ли так Богу,  
чтобы там я страдал до смерти  
и заживо сгнил в лачуге звериной,  
куда не зазвать и пса!

Но зато на восьмом этаже широки небеса:  
седьмое небо...

Без хлеба,  
ночью бессонной и длинной,  
вижу звезды — Твои глаза,  
о, Светлый! —  
Мне ласково смотришь в глаза,  
о, Светлый! —  
и тайные муки мои,  
и темные страсти мои,  
и каждый мой шаг Ты знаешь,  
Ты, кого я считаю Отцом.  
И так хорошо мне в соседстве с Тобой!

Даже, может быть, Ты причитаешь  
в темнице ночной  
надо мной  
пред медленным горьким концом...

Я высоко живу над землей,  
живу, издыхая,  
где-то около Рая!..

1920

## ВАЛЕТ БУБНОВЫЙ

Тебя догнал я на коне,  
Догнал бубнового валета.  
Я заколол его во сне,  
Но — странно! — Кровь не пролилась при этом!

Когда рапиру я извлек,  
Он рассмеялся неприлично.  
Тут я рассвирепел, и в бок  
Рапира ранила его вторично.

Стоял холодный звездный март.  
Он, хохоча в бору сосновом,  
Рассыпался колодой карт,  
И каждая из них — валет бубновый.

Тогда твой побледневший лик  
Изобразил лишь изумленье.  
Хотя бы проронила крик,  
Остановила злое преступленье!..  
Чудовищное наважденье!

*1920*

## ВЗАПЕРТИ

Один — я с мыслью сокровенной  
В мансарде. Здесь, заняв собой  
Так мало места во вселенной,  
Валяюсь целый день больной.

Как эта комната паяца  
С пучком цветов, сухих давно,  
И зайчиком могла смеяться,  
Когда ударит он в окно!

Не протянуть руки к стакану.  
Горят уста. Иссушен рот.  
Кружится комната. Не встану,  
Да и никто не позовет.

Эфира запах острый нюхай!  
Как поражает тишина  
С назойливо жужжащей мухой  
В квадрате пыльного окна!

*1921*

## БРЕД

Максу Жакобу

Предутрие казалось продолженьем  
тяжелого кошмара.

Стой, стой, виденье!

Зловещее зарево.

Миров крушение.

А вот и вывеска:

— «Дальше — конец мира».

Сгинь, марево!

*Dies irae...*

Жизнь, лахудра, издохни!

Наземь грохнись!

Грохот.

Хохот.

Сгинь, бесовская сила!

*Dies irae, dies illa\**.

Над городом шум вспенился волной

и достиг верхних окон домов,

где бедные влачат покорно за собой

всю тяжесть добровольных кандалов.

1922

---

\* Настанет день, день гнева... (лат.)

## ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ<sup>51</sup>

Центр тяжести, живот,  
отпустим душу на покаяние!  
Вот:  
большая вывеска на широкой площади.  
Буквы излучают яркое сияние,  
синее на охре: «Ресторан».

Остановились бешеные лошади.  
Слезает толстый кучер. Тоже — сан!  
Кучера обуты, одеты, —  
не то, что поэты.  
Обедают каждый день.

«Гороховое чучело!  
Захотелось пообедать? Стань кучером!»

Бессилие, вялость и лень.  
Так бы и грохнуться  
На постель.  
Разве поздоровится  
от постных недель?  
На одну неделю сто тысяч чертей  
и семь смертей.

Веселый город!  
Едят и тюремщики, и каторжане...

Голод! Голод!  
Отпусти душу на покаяние!..

1922

*Из цикла «Под бритвой жизни и смерти»*

РЕФЛЕКС

Я не показывал и виду,  
(Из гордости или стыда),  
Что я проглатывал обиду  
С голодной слюной. Когда,

Как зверь, по городу я рыскал,  
Задумалась ли, поняла ль  
Она по беглым волчьим искрам  
Голодных глаз моих — печаль?

В подергиваньях плеч сутулых,  
И в бледных, вваленных щеках,  
И в резко-угловатых скулах,  
В заискивающих глазах,

В безволии, что воцарилось  
И властвовало надо мной, —  
Мое страданье обнажилось  
И выявилось с остротой.

Но было что-то и другое:  
Нет, не болезненный мой вид,  
Не состояние больное  
О муках голода кричит.

Нет, жест руки!.. Жест, за который  
Невольно я краснел порой,  
Когда, возобновляя споры,  
Рот прикрывал я всей рукой!

Голодный дышит — запах скверный  
Бьет из его сухого рта.  
То верно. С тлением и скверной  
Шагает рядом красота.

Чтоб не дышать в лицо любимой,  
С которой рядом я шагал,  
Ей не в глаза смотрел, а мимо,  
Когда я что-то бормотал.

Шел неуверенной походкой,  
Держась все время серых стен,  
И после паузы короткой  
Вновь выдыхал со словом тлен.

Она же, лилия прямая,  
Гордясь незлобной красотой  
И странностей не понимая,  
Шутя, смеялась надо мной.

*1920–1949*

## ПРОМОТАННОЕ НАСЛЕДСТВО

Всплывают вдруг виденья детства.  
Перед глазами — мать встает.  
Ее бесценное наследство  
Я в жизни расточил, как мот.

Добросердечие простое,  
Любовь, отзывчивость души  
Там, в созерцательном покое  
Сосредоточенной тиши.

Ее любовь пустила корни  
Глубокие в душе моей.  
Меня оберегал мир горний  
От злобы мелочных людей.

Под сокрушительным ударом  
Разбился вдребезги мой щит.  
И ярый воск, дышавший жаром,  
Весь растопился и чадит.

Растоптаны дары природы.  
Оплевана моя любовь.  
Прошли доверчивости годы.  
Мне злая жизнь свернула кровь.

И я узнал, слепые люди,  
Как тяжело на сердце зло.  
Так в роковую ночь Иуде,  
Должно быть, было тяжело.

Я страстно вожделею чуда.  
Пускай сильней ложится гнет.  
На сердце темное, покуда  
Оно в слезах не истечет, —

Чтобы слезу с ресниц Агари  
Утер я под шатром небес,  
Чтобы в любви ко всякой твари  
Для новой жизни я воскрес!

*1920*

## МАРЕВНА<sup>53</sup>

О, тишина лазурных глаз,  
В которых небо отразилось!  
Мне стоило увидеть вас —  
И пламя злобы укротилось.

Но на душу мне лег покой  
Тяжелым бременем условий.  
Напрягшиеся тетивой,  
Грозились мне тугие брови.

Змеились сжатые уста  
Улыбкой странною Джоконды.  
Она была одной из ста  
Обворожительниц «Ротонды».

Соперничали меж собой  
Прелестные три маргаритки:  
Три Маргариты! Но красой,  
Мне приносящей радость пытки,

Не подпускающей к себе,  
Свой взор на всех бросая гневно,  
И, безучастная к мольбе,  
Их затмевала всех Маревна!

Я долго на нее смотрел  
Из-за угла как на икону.  
(Глазами, кажется бы съел  
Я белокурую мадонну...)

Бывали дни, когда она  
И впрямь казалась мне мадонной!

В зрачках была отражена  
Печаль души ее взметенной.

.....

И, как юродивый, без дум,  
Я не осознавал событий.  
Подмигивал мне Розенблюм:  
— Я видеть не могу, хотите,

Вас познакомлю? — восклицал,  
— Ведь женщины не столь суровы!  
Я головою замотал  
Испуганно: — Как можно, что вы,

Нет! — От абсента на ногах  
Едва держась, я зашатался  
И со слезами на глазах  
Со столиком поцеловался.

*1920–1949*

## РАВЕНСТВО<sup>52</sup>

Пора блаженнейшая — лето!  
Я дым пускаю в облака.  
Есть у бездомного поэта  
Две горсти злого табака.

Я рад лохмотьям почернелым,  
Последнему на мне тряпью.  
Доволен я здоровым телом  
И воду с наслажденьем пью.

Нет у меня и кружки ржавой!  
Так что ж! Невелика беда:  
Зачерпнутая и дырявой  
Ладонью, сладостна вода.

В штанах просвечивают дыры,  
Но хлеба грызть могу ломоть  
И не дана в животном мире  
Царям земли иная плоть.

Они смердят, как всякий смертный,  
И не дано им двух голов,  
А держатся они инертной,  
Слепой послушностью рабов!

*1920–1949*

\*\*\*

О, незлобивость сердца или  
Доверчивость! О где же вы?  
Где вас искать, как не в могиле,  
Где тесно для людской молвы!

Но, видно, легче — ненавидеть  
И проще — камень дать, чем хлеб!  
Не слышать больше и не видеть,  
Как в злобе человек ослеп!

Прекрасен был бы мир, согретый  
Взаимной дружбою людей,  
Готовых соблюдать обеты  
И клятвы в верности своей,

Привязанностью безрассудной  
Сердец доверчивых к сердцам,  
Любовью искренней и трудной,  
Не ставящей условий вам,

Неприхотливою любовью,  
Готовой всю себя отдать,  
Одежду скромную и вдовью  
По смерти мужа не снимать!

Но где ж она? Где вы найдете  
Не оскверненное жилье?  
Где та любовь? Не в позолоте  
Найти вы можете ее!

А на краю дороги пыльной  
Уже ты видишь: Смерть вдали

Стопы с гримасою могильной  
Вдавила в жесткий грунт земли.

На что же временные клятвы,  
Когда, как четкий ясный герб,  
На безграничном поле жатвы  
Сверкнул ее короткий серп?!

*1920–1949*

## БРАТСТВО<sup>52</sup>

Вот верно схваченный набросок:  
Проходит жирный биржевик —  
Пять-шесть морщинистых полосок  
И оплывающий кадык.

Носимый животом огромным,  
Он бедняка не обойдет,  
И, поравнявшись с малым скромным,  
Его насмешливо столкнет.

Толкает он на тротуаре  
Плюгавых, будто вся земля  
Принадлежит ему. На харе  
Читаю: «Прочь с дороги, тля!»

Себя он держит безупречно  
На рауте. Есть стол и дом.  
Но забывает, что не вечно  
Переть он будет животом.

Он будет плакаться кому-то,  
Когда курносая придет.  
Настанет страшная минута:  
На «Икса» перепишут счет.

Тогда-то животом огромным  
Не он попрет! Его попрут.  
С ним, — ненасытным, неумным,  
Покончат в несколько минут.

*1920–1949*

## ХУДОЖНИК СФЕР

Село Ривьер! То было летом.  
Я с ним связался до того,  
Как начал жить анахоретом  
У простодушного Гаво.

Нужду мы оба испытали,  
Живя под кровлею одной.  
Мы воздухом одним дышали.  
Что ел один, то ел другой.

Любили оба мы искусство,  
Мед ели, пили молоко,  
И неприязненное чувство  
Мне было чуждо глубоко.

Бывало, маслом хлеб намазав,  
Поверх накладывает мед  
И тут же серию рассказов  
Из «Илиады» он начнет.

Вдруг, потрясая бутербродом,  
Причмокнет, глупость промолов:  
— «А, знаете ли, масло с медом  
И есть амброзия богов!»

Но понемногу доктринерством  
Он начинал надоедать,  
Когда передо мной с упорством  
Он разворачивал тетрадь

И Канта точною цитатой  
Мой слух рассеянный терзал,

Я ж, вдохновением объятый,  
Уединения искал.

То в облике смешном и строгом,  
Прямолинейный и сухой,  
Глубокомысленным игом  
Прикидывался предо мной.

Гимнастике он предавался,  
Пофилософствовать любил,  
И живописью занимался,  
И мудрости меня учил.

Художник он своеобразный,  
Но не писал полотен он.  
Однажды он из папки грязной  
Извлек расписанный картон.

Что ж дух иога беспокоит?  
Когда с ним это началось?  
Системы солнечной стероид  
И эллипса большая ось

На фоне сажи. Сферы стыли  
В своем вращеньи. Облака  
Фосфоресцирующей пыли, —  
Всё сухожильная рука

Уверенно изобразила.  
Он показал другой картон:  
Всё те же звезды и светила!  
И вот уже я раздражен.

Описанного человека  
Мне самый вид претил всегда,  
В особенности — как у грека  
Подстриженная борода,

О, Господи! Но почему же  
Возненавидел я его?  
Иль в этом благородном муже  
Отталкивало естество?

За то ли, что душе бесплотной  
Нет места на земле дурной  
С ее потребностью животной,  
С ее зловонной красотой?

За то ль, что в человеке этом  
Жизнь тем была, что есть она?  
Что созидателям, поэтам  
Жизнь ангельская не дана?

*1920–1949*

## СВЕТЛАЯ ТЮРЬМА

Был этот светлый мир тюрьмой,  
И в нем ты заточен:  
Всё, что твое, всё, что с тобой,  
Минутный жизни сон.

От пролитых тобою слез  
Поблёк твой ясный взор,  
И бородою ты оброс,  
И гаснет твой задор.

И одиночество твое  
Встает перед тобой.  
Ты проклинаешь бытие,  
Часов услышав бой.

Он пролетит, мгновенный век.  
Он станет пищей мух.  
Великий гордый человек!  
Ты — что? Тлетворный дух!

Завоеватели-рабы!  
Мир покоряли вы,  
А избежали ль вы судьбы  
Покошенной травы?

И сокровенные мечты,  
Борьба страстей — все ложь!  
В смысл смерти вдумаешься лишь  
И жизнь ты проклянешь:

Лжецов и нанятых жрецов,  
Расчетливых и злых,

Душой невинных, и глупцов,  
Злодеев и святых.

В короне царь, шут с колпаком,  
У них — одна судьба...  
Но кто заставил быть рабом  
Несчастливого раба?

Но кто же сделал мир тюрьмой?  
Кто заточил тебя?  
Кто растоптал тебя пятой,  
Во цвете лет губя?

Агония?.. Пойми, она  
Всего, всего страшней.  
Всю жизнь лишь ею жизнь полна,  
Прикована лишь к ней.

Почувствуешь озноб и дрожь  
И станешь призывать  
С мольбою смерть, но не умрешь,  
А будешь умирать...

И если смерти час придет,  
Не будет больше глаз,  
Чтобы увидеть, кто твой рот  
Закроет в смертный час.

Сомкнется тьма, какдушный склеп,  
И опустеет дом.  
Ты будешь глух, и нем, и слеп  
В пространстве мировом.

О, как завидна доля пса!  
Завидуешь, глупец?  
И псы, скуля на небеса,  
Предчувствуют конец!..

1920

## УРАВНИТЕЛЬНИЦА

И ты, прекрасное создание,  
Ты, девушка моей мечты,  
От коей низошло сиянье,  
Как луч с небесной высоты, —

И ты умрешь, как умирали  
Непримерённые с судьбой,  
И ангелы земной печали,  
И демоны вражды земной.

Смерть-уравнительница ставит  
Между злодеем и святым  
Знак равенства, и бритву правит  
На всех — одну! Всё — прах и дым.

Зачем же в слабости инертной  
Влачась в пыли, тоскую я?  
Томлюсь по красоте бессмертной  
И по бессмертью бытия?

Зачем же складывать ладони  
В молитве грешному рабу,  
Живущему в грязи и вони,  
Клянущему свою судьбу?

Запечатлеть ищу я муки  
Во вдохновении святом,  
Но обессиленные руки  
Не водят дрогнувшим пером!..

1921

## НА УЛИЦУ!

В тяжелом состоянии духа  
Я смятый галстук завязал.  
Вздохнув глубоко, вскрикнув глухо,  
Я вырвался и побежал.

На улицу! Бегом! Направо!  
И предо мной бульвар Распай.  
Навстречу — женщина с лукавой  
Усмешкою, сулящей рай.

Стон плачущей виолончели  
Слетает с верхних этажей.  
Зной раскалил асфальт панели.  
Мне дышится все тяжелей.

Задушенный бензиновой вонью,  
Под дребезжание колес,  
Расправил потную ладонью  
Космы взлохмаченных волос.

Стою у двери магазина,  
Смотрю кому-то я в упор.  
О, как зеркальная витрина  
К себе приковывает взор!

По обе стороны витрины  
Два зеркала. Не снится ль мне  
Взаправду ль этот лик звериный,  
Давно небритый, мой вполне?

Морщинку ль новую покажет  
Бездушно-верное стекло?  
Опять взволнует? Вздуроражит?  
О, как дышу я тяжело!

Прерывисто!.. А лоб горячий!..  
А сердце бьется молотком!..  
Не по-вчерашнему... иначе...  
Вот глухо раскатился гром.

Иль ты, предвестье смерти близкой,  
Мне затуманиваешь мозг?  
Мне клонишь голову так низко?  
На щеки свой наводишь воск?

*1921–1968*

\*\*\*

Опять предчувствие глухое<sup>53</sup>  
Мне давит голову, как жгут.  
О, как мне хочется в покое  
Побыть хоть несколько минут!

Подавленный, больной, безвольный,  
Забыв о мире остальном,  
Тянусь я к широте раздольной,  
Я, замкнутый в себе самом...

Покинутости чувство крайней  
Всецело завладело мной.  
События необычайней  
Одно другого... Стой, стой, стой!..

Ты должен выдумать спасенье  
В часы безволия, пока  
Толкает нас на преступленье  
Чья-то незримая рука!..

*1921*

## ПОД БРИТВОЙ

Белеет на груди салфетка,  
Пропахшая лавандой. Что ж,  
Давно пора! Я бреюсь редко.  
Так не угодно ли под нож?

О зеркало! О пруд овальный!  
В тебя гляделось сколько глаз?  
Чужой тебе и я, печальный,  
Гляжусь и думаю сейчас:

Подставить, значит, горло бритве?  
Руке довериться чужой?  
В последней, может быть, молитве  
Блаженной изойти слезой?

А если, свой теряя разум,  
Загадочное существо —  
Цирюльник незаметно, разом,  
Так, ни с того и ни с сего,

Со мной покончит? Мне под пыткой  
Мучительно чего-то жаль!..  
Наточенной и острой ниткой  
Слегка щекочет кожу сталь.

Руки лишь взмах неосторожный  
(Иль предумышленный), и вот  
Рисуется исход возможный,  
Почти естественный исход.

И не с усладой ли жестокой  
Цирюльник сжал лицо мое?  
Вот бритву он занес высоко,  
Направил к горлу острие...

Чувствительный к прикосновенью  
Его шершавых грубых рук,  
Лишь за его вертявой тенью  
Я наблюдаю не без мук.

Молниеносное движенье  
Отточенного острья!  
Ожог! Еще одно мгновенье...  
Стального пламени струя

Змеей по коже пробежала.  
Готовься! Будь настороже!  
Укус ли ядовитый жала  
Почувствовал? Уже! Уже!..

Царапина неощутима...  
А он?.. Он — чародей и маг!  
Но затянулась пантомима!  
Свечений блеск, зарниц зигзаг...

Я опускаю взор от страха.  
Кончает пытку жуткий мим!  
Еще два-три последних взмаха...  
Встаю я, цел и невредим.

*1921*

## СЧАСТЛИВАЯ НАХОДКА

Куда несусь, как сумасшедший,  
С утра не евши? Битый час  
Передо мной танцуют плечи  
Мадонны с улицы д'Ассас.

Что примелькнулось мне? Что вижу?  
Сбылись негаданно мечты:  
Вот ходишь, бродишь по Парижу  
И что-нибудь находишь ты!

Мужчина, щегольски одетый,  
И дама с ним, в пуху, в шелку,  
Выходят чинно из кареты,  
Подвезшей их к особняку.

Пока из кожи крокодилей  
Он опускал свой чемодан,  
Она, гагачею мантилей  
Полуприкрыв воздушный стан,

По мне усмешкою брезгливой  
Скользнув, как будто я был зверь,  
Напыщенной, надменной дивой  
В парадную влетела дверь.

Но не ее чудесной пряжкой  
На поясе я восхищен,  
А смятой, скомканной бумажкой  
На тротуаре! Старый клен

Раскинул ветки и царапал  
Вверху оконное стекло.  
Дождь с листьев бисерами капал  
И наземь падал тяжело.

Тогда с непримиримой злобой,  
Уже стесняться перестав,  
Я, движимый пустой утробой,  
К бумажке кинулся стремглав.

И, озадаченный бесстыдством,  
С каким подполз я, этот дог  
Меня с нахальным любопытством  
Обмерил с головы до ног,

Попятился, вихляя задом,  
Монокль подправив, от меня,  
Своим высокомерным взглядом  
Метека\* жалкого казня.

Я в луже промочил колени  
И от волнения устал.  
Обычный мелкий дождь осенний,  
Холодный дождь еще хлестал.

Еще не отошла карета,  
А у меня уже в руках  
Шуршит, хрустит бумажка эта,  
Оброненная впопыхах.

Лишь за углом рукой дрожащей  
Ее поднес я к фонарю:  
Пять франков! Так бы вот почаше!  
Глазам не верю, все смотрю...

О том, что ждет нас, знать заранее  
Нельзя! Разгладил. А зачем?  
Сейчас в дешевом ресторане  
Пятифранковку я проем.

*1921–1941*

---

\* Метек — презрительная кличка иностранцев.

## ШКОЛА ЖИЗНИ

С растрепанными волосами,  
Небритый уж который день  
И подгоняемый мечтами,  
Брожу с мозгами набекрень.

Мне сила воли безусловно  
Нужна гигантская, чтоб я  
Вошел походкой твердой, ровной  
В «Салон для стрижки и бритья».

На мне подаренный когда-то  
Костюм, изношенный до дыр.  
Взор опускаю воровато,  
Когда вступаю в чуждый мир.

Горизонтально, вертикально,  
Из гладких омутов зеркал  
Глазами щеголей нахально  
Меня оглядывает зал.

То было жизни страшной школой,  
Которую я проходил.  
Дышал я злобою тяжелой  
И в сердце ненависть копил.

*1921–1949*

*Из цикла «Омут будней»*

\* \* \*

Что дал бы я, чтоб очутиться  
На улице Жозеф Бара!  
Но годы мчатся вереницей  
И лишь мечты летят с пера.

Как зачеркнешь главу романа?  
Не мало ль я извел чернил?  
О, звуки плавные органа!  
Нет, разве я вас сочинил?

А лестницы спираль крутая  
И соблазнительный провал,  
Куда, улыбкою играя,  
Меня так демон и толкал!

А ночь, бессонная порою,  
Под сенью тюильрийских лип!  
Париж, не позабытый мною, —  
(Второе «Я»!) — ко мне прилип.

Я на него бывал в обиде,  
Но он все кажется родным,  
И я пою, как пел Овидий,  
В Констанце вспоминая Рим.

1933

## ЖИЗНЬ — ОЖЕРЕЛЬЕ ДНЕЙ

Я больше думать не хочу,  
Что я когда-нибудь умру.  
Я солнечному рад лучу  
И поутру и ввечеру.

Встряхнись! Какой веселый день!  
Шумят московские дворы.  
Как нить в иглу, себя продень  
В галдеж и радость детворы.

Земля в рубашке муравы,  
Поет над головою дрозд,  
И вдруг сквозь вырезы листвы  
Прорвутся копыа острых звезд.

Ты, как каменья нанижи  
Мгновенья беглые на стих,  
И межи их в одно свяжи.  
Жизнь — ожерелье дней твоих.

1935

ИЮЛЬ 1914 ГОДА

Когда раскрыл я том неповторимой прозы  
На «Выстреле», меня кольнула в сердце боль.  
Сухие лепестки давно бескровной розы  
Мне вдруг напомнили живую центифоль.

В Париж перенесло меня воображение.  
Жизнь мирная течет. В листве — клочки небес,  
Органный шум дубов, стук дятла, растворенье  
Всех запахов земли в Булонский манят лес.

Четырнадцатое июля. Вальсы. Танго.  
И туча мошкар. Несносная жара.  
А пляшут без конца. Все пляшут: люди с Ганга,  
С Луары и Янцзы, и Тибра, и Днепра.

На площади кипит безумное веселье.  
На волю высыпал восторженный народ.  
Бумажных фонарей танцует ожерелье  
Между платанами. Четырнадцатый год!

Ночь сожжена. Стою пред армиллярной сферой.  
Хлопушек дальний треск еще гремит в ушах.  
Светает. Вырезы на фоне дымки серой  
Дельфинов бронзовых, коней и черепах.

Кто знал, что это — час агонии Европы,  
Что ей готовится иной — кровавый пир,  
Что императоры под мир ведут подкопы,  
Что дула гаубиц направлены на мир?

Забыл я центифоль и в коридорах леса  
Завесы лиственной темно-зеленый тюль.  
Да, «Выстрел»... С выстрелом предательским в Жореса  
Иллюзиям людей итог подвел июль.

Безоблачные дни летят к чертям куда-то.  
Как прежде жил, ты жить не будешь, человек!  
В мир счастья призрачный не может быть возврата —  
И девятнадцатый вмиг оборвался век.

Кипели, как в котле, высокие вокзалы,  
И красные штаны заполнили Бульмиш\*.  
Где вы, вчерашние веселые кварталы  
И пестрые цвета плакатов и афиш?  
Кимвалов молнии на солнце!.. Глóток сотен  
Рев — как страшен он! Истерика святош,  
Визг вынырнувших толп из темных подворотен,  
И стекла выбиты под вопль — «A-bas, les boches»!\*\*

Так началась война...

1935

---

\* Бульмиш — сокращенное название бульвара Сен-Мишель.

\*\* «Долой бошей» (*фр.*). Боши — презрительная кличка немцев во Франции.

## НА СЕВЕРНОМ ВОКЗАЛЕ

Человеческая давка,  
Море черное голов.  
Это — первая отправка  
Необстрелянных бойцов.

Рвутся с песней Деруледа,  
Тесен Северный вокзал,  
«То поет сама победа!» —  
Парень матери сказал.

Надрывается старуха.  
Слов не слышно. День горяч.  
От волненья в горле сухо:  
— Мать! Ну, милая! Не плачь!

Паровоза стон протяжен  
Переполненный вагон.  
Завтра будет песня та же,  
Те же крики, тряска, стон.

1935

\* \* \*

Что было тогда? Я пушинкой летел,  
Голодный и тощий, по шумным бульварам.  
От первого окрика трусил, робел,  
Бежал по хрустящим листвою тротуарам.  
Париж был охвачен военным угаром.  
Себе я отрезал дорогу назад,  
И люди меня окружали чужие.  
Приютом мне стал фешенебельный сад,  
Где музы и фавны белели нагие,  
Где я тосковал по далекой России.

## «УЛЕЙ»

В углах потолка — паутины.  
Не слышны ткачи-пауки.  
И пыльные окна старинны,  
И ясности дни далеки.

Разбитые кресла и стулья.  
Лишь глина и гипс в ателье.  
В тоске выбегаю из «Улья»,  
Из комнаты темной Шарлье.

В нем скучено жили евреи,  
Поляки, испанцы, румын,  
Художники, что победнее.  
Меж ними австриец один.

Мечтатели, сидя без хлеба,  
Со страстью работали там.  
Гром грянул из ясного неба  
И жизнь расколол пополам.

На травке заглохшего сада,  
В биении тревожном сердец  
Друг к другу мы жались, как стадо  
Покорных и робких овец.

Вели мы горячие споры  
И спрашивал каждый из нас:  
Должны ль мы идти в волонтеры?  
Что делать должны мы сейчас?

В малиновой россыпи блесток,  
На плоскости синей стекла  
Луч вспыхнул, и был он так хлесток  
Пред тем, как нахлынула мгла.

Из сумерек серого зданья  
Один человек прибежал.  
Когда воцарилось молчанье,  
Он нам, задыхаясь, сказал:

— «Вот только что в комнате пятой  
Австриец покончил с собой!»  
Мы встали с травы перематой,  
Подстегнуты тайной чужой.

То третьего августа было:  
Австриец покончил с собой!  
Молчанье мне горло сдавило,  
И был я подавлен тоской.

Гадал я, что будет со мною?  
А думать осталось два дня.  
Я медной полушки не стою,  
Ведь паспорта нет у меня.

Идти в легион иностранный?  
Зачем же вступать мне в игру?  
Нет выбора — как окаянный  
Голодную смертью помру!

*1935–1951*

## «ОКОПАВШИЙСЯ»

Я сам с собою говорю: «Да нет же,  
Последний су  
Еще вчера проел, а там, в коттедже,  
Сытнее псу...»

Оттуда томный пшют гулять с болонкой  
Идет с утра.  
Резной буфет отделкой манит тонкой.  
И баккара.

Ломаю голову себе: «Богатый  
И патриот..  
Кому ж, как не ему пойти в солдаты?  
А не идет!..»

Ему и так не худо в барском доме  
Он «embusqué»\* —  
И делать нечего ему на Сомме  
В грязи, в тоске.

Есть и другой. Тип «embusqué» военный!  
Он в штаб проник.  
Со связями и циник откровенный.  
Да и шутник.

«За Францию кровь, значит, проливаетесь?  
К нам из трясин

---

\* Окопавшийся (*фр.*).

Каких?» — «Зачем же? Проливаю, знаешь,  
Пока... бензин!»

До боли жаль мне волонтеров, парней,  
Ушедших в бой.

Они сложили головы на Марне  
В миг роковой.

*1935*

## БЕГСТВО ИЗ ПАРИЖА

Париж пустеет. Все бросают  
На произвол судьбы гнездо.  
От канонады удирают  
Вслед за правительством в Бордо.

Орудий слышен гул в Париже  
С Валерианского холма.  
Баварцы с каждым днем все ближе.  
Пустые серые дома.

Вокруг шатаются устои.  
Земля уходит из-под ног.  
Как люди осажденной Трои,  
Мы ищем, кто бы нам помог.

И за соломинку хватаясь,  
Не в силах я себе помочь.  
Покорно в «Улей» возвращаясь,  
В пустынную вступаю ночь.

И жутко мне, я неспокоен,  
Как будто гонят на убой...  
И прохожу я мимо боен,  
И звезды шествуют со мной.

*1935–1951*

## БОМБЕЖКА

Бормочет что-то мне невнятно Модильяни.  
Он с серафической улыбкой в час ночной  
Уверенно портрет выводит обезьяний  
Одною линией и говорит, что мой.

Раздался вой сирен. Загрохотали бомбы.  
Попало в госпиталь на улице Сен-Жак,  
Другая — на Фальгьер!.. Дымятся гекатомбы\*.  
Скорбь безутешная, растерянность и мрак.

Сноп ослепительный прожекторов так плотен!  
Они, трапециями перерезая тьму  
На сотни угольных, искромсанных полотен,  
Прощупают врага: не сдобровать ему!

Как зачумленное, испуганное стадо,  
Толкаясь, женщины сбегают в погреб...  
На свете лучшего не надо Эльдorado.  
Здесь можно и съязвить, пока идет пальба.

1935

---

\* Сотни жертв.

## ПЕРЕМИРИЕ

*(ноябрь 1918 года)*

Ноябрьское солнце над Сеной!  
От факелов в городе чад.  
На улицах смех довоенный,  
Танцулек веселый ад.

Здесь песня была под запретом.  
На сердце висел замок.  
Вновь в воздухе, чуть разогретом,  
Песен гремит поток.

Хоть проку от солнца мало,  
Ликуй, торжествуй, народ!  
Как будто войны не бывало  
И выдумка — слезы сирот!

1935

## У ВХОДА В ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ САД

«Ла-Алла-Эллали!» — Алжирец пел в истоме.  
В окопах вши, визг пуль, страх смерти, иглы пург  
И ноги — это все оставил он на Соме,  
Здесь феску листьями осыпал Люксембург.

Ему и до войны бывало не до смеха.  
Как многие, и он был разлучен с семьей,  
В Европе — скорлупе расколотой ореха —  
Теперь тоскует он по Африке родной.

Сестренка где теперь? Жива ли мать слепая?  
Да, вспомнил! Мать дала в мешочке горсть земли...  
Какой земли? Земли оставленного края!  
Но и мешочка нет... «Ла-Алла-Эллали!..»

Опять Корана стих! Нет, жизнь — другая книга!  
Ему в Алжир пора: слепая мать, сестра...  
Спускалось на него кристальное индиго  
С небес полотнищем огромного шатра.

Не надо ничего. Не надо и Аллаха!  
Как юность, родина ушла куда-то вдаль.  
С ногами потерял и горсть родного праха,  
И не заменит их французская медаль.

1935

*Из цикла «На-духу»*

\* \* \*

Мне мозг туманили энциклики,  
Апостолы, Матфей и Марк,  
Экзальтированные выклики  
У статуи Иоанны д'Арк.

А вечером в «Ротонде», по столу  
Стуча, орал поэт взахлеб,  
И клялся именем апостола  
Католик добрый Макс Жакоб.

*1942*

## ФЕВРАЛЬСКОЕ УТРО

Органные с пуд весом свечи  
Иль трубы — кончиками вниз,  
Висят сосульки, и на плечи,  
Гляди, обрушится карниз.

Они, играя ранним утром,  
Горят, как солнца... Блещет таль,  
Переливаясь перламутром:  
Таков ты в ростепель, февраль!

*1943*

## ВИДЕНИЯ ПРОШЛОГО

В час мертвенный, когда себя тревожишь былью,  
И в уши ватою забьется тишина,  
И хочется тебе живительного сна,  
А тьма запорошит глаза свинцовой пылью, —

Минувшее встает из марева мечты,  
Его ты не сжигал: оно само истлело...  
Над грудой бумаг твое коснеет тело,  
Ты ищешь продлевать видения тщеты,

Видения того, что, воплотясь однажды,  
Себя исчерпало, как на рассвете — мгла,  
Над чем и плачешь-то без слез, без грез, день каждый,  
Жизнь расточительно испепелив до тла.

*1947*

## IN MEMORIAM

*Юрию Верховскому*<sup>38</sup>

Проникновенным, Юрий, словом  
Вспугнул ты беспробудный сон.  
И я взволнован, потрясен  
В уединении суровом!  
Четырехстопных ямбов звон  
Опять в душе звучит набатом...

Прими ж послание в ответ  
На посвященный мне сонет!

Перед тобой, названным братом,  
Стою в сомнении проклятом:  
От сердца ль камень отвалю,  
Когда язык прилип к гортани?  
Иль в детских вымыслах преданий  
Свою печаль я потоплю?  
Сотру ли ржавчину страданий?

Преданье есть: среди вершин,  
Повитых пеленой тумана,  
Шотландских гор певец один  
Прогуливал свой черный сплин.  
Забывтый миром, беспрестанно,  
Под звуки арфы хоронил  
Заглохшее воспоминанье,  
Пока не падал он без сил.  
На добровольное изгнание  
Себя мудрец мой осудил.

О память! Сколько раз ты взоры  
Кропила едкою слезой?  
Бард с омраченной душой  
Тебя, как ящика Пандоры,  
Страшился в час тоски глухой.  
Себе избрать бы долю зверя!  
Забыть событий календарь,  
Не знать того, что было встарь,  
Жить, истинам людским не веря, —  
Того ль хотел природы царь,  
И жалкий в горе, и великий?  
Он пеньем дивным чаровал  
Толпу насупившихся скал  
И к тени бедной Эвридики  
Тоскующий Орфей взывал.

Лет приснопамятных волненье  
Растаяло ль, как дым во мгле?  
Или от мира отчужденье  
Печатью выжгло на челе?  
Но за какое преступленье?  
Мир необъятный страшно пуст,  
И лишь дубовых сучьев хруст  
Напоминал в глуши пустынной  
Обрывки фраз, перед кончиной  
Слетевших с бледных слабых уст!

Должно же что-нибудь остаться  
В увядшей памяти певца!

Изгладились черты лица  
И сетованиям святотатца,  
Как и проклятьям, нет конца.  
Пустынник звал к себе Давида,  
Как мира страждущий Саул.  
Он в плечи голову втянул,  
Грудь жалила иглой обида.  
По выступам аскетских скул

Впервые слезы побежали,  
Когда он вспомнить не сумел,  
Как нежные слова звучали,  
Как задушевный голос пел!

Впишите за него в скрижали  
То, что он сам вписать хотел:  
«Забвенье — смертного удел».

Тогда-то он в тисках печали  
Повесил арфу на скале.  
И поступью неслышной парда  
Прошли века, и имя барда  
Забыто всеми на земле.  
Его же арфа и поныне,  
Под грохот бури, на стремнине  
В час утра иль на склоне дня,  
Все плачет, жалобно стена,  
О чей-то горестной кончине.

И, звук таинственный кляня,  
Ездок испуганный, коня  
Сильней пришпорив, весь трясется.  
Но почему же он застыл  
И сердце маятником бьется?  
Иль это плещется и льется  
Звон вышний серафимских крыл?

1947

### ЗАМОРЫШ<sup>53</sup>

Вот муза стала надо мной.  
Нет, не Эвтерпа, не Эрато!  
И не с цевницею двойной,  
Не с лирой, томною когда-то.

О, нет! Заморыш, краше в гроб  
Кладут: бедна, проста, несчастна...  
Бьет по ночам ее озноб.  
Сует перо мне в руку властно.

Я говорю: «Да пожалей,  
Намерена ль ты долго хныкать,  
Стоять над головой моей  
И в сердце вдохновеньем тыкать?»

1949

## ИСКУСИТЕЛЬ<sup>53</sup>

Поэма

### I

Я прислонился слабым телом  
К витрине. Стал, как дуралей.  
Стекло, начищенное мелом,  
Полощет лепестки огней,  
В нем отраженных.

Их разливы

Мешают лучше рассмотреть  
С ума сводящий вид красивый:  
Всю эту булочную снедь,

Наваленную сдобной горкой,  
А посредине — круассан  
С поджаристой румяной коркой —  
Рожок любимый парижан.  
Там — все! Печенье, пачки чаю,  
Пирожные, черт знает что!  
И слюни в спазмах я глотаю,  
А ветер полы рвет пальто.

### II

Ночь. Поздний час. Автобус гулкий,  
Вдруг выросший из-под земли,  
Сам облизнул огнями булки:  
Огни иль слюни потекли?  
Оцепенелый, не шелохнусь.  
Бросает то в озноб, то в жар,  
И, чувствую, вот-вот я грохнусь  
На этот мокрый тротуар.

И уж какая мне охота  
Собратся с силами, уйти,  
Иль поскорее сделать что-то,  
Задуманное по пути...  
Тогда похабный искуситель,  
Который все за мной следит,  
Как провокатор, как мучитель,  
Над ухом вкрадчиво трубит.

### III

— «Ну! Будешь долго ли ты, ляля,  
(Я слушаю и все стою!)  
Глазеть, часами бельмы пяля,  
На эту выставку мою?»  
Он из витрины тычет палкой,  
Мое движенье повторив,  
А я, растерянный и жалкий,  
Я слушаю его призыв.

— «Ты брел сюда, должно, недаром?  
Ну, вспомни же, зачем! Смелей!  
Вот палка, на, одним ударом  
Витрину вдребезги разбей!»  
Он повторил мое движенье.  
Смотрю упорно на него.  
«Э, думаю, ты — отражение,  
Соблазн и больше ничего!»

### IV

Припомнить силюсь, где же прежде  
Его встречал? Иль не встречал?  
В подобной же худой одежде  
На набережной он торчал  
И вглядывался в воды Сены,  
Когда с душою, полной слез,  
Ответа требовал, смятенный,  
На мучивший его вопрос.

И необыкновенно юркий,  
Когда без табака сидел,  
Он жадно подбирал окурки  
Заплеванные. И краснел.  
Старательно и с отвращением  
Он оттирал их рукавом,  
Потом с огромным наслаждением  
Затягивался под мостом.

## V

Закралось в сердце подозрение.  
Припоминал я: — «Это чье  
Расплывчатое отраженье?  
Лицо — мое иль не мое?!.  
Сгинь, пар! Ты — порожденье склепа!  
Себя в тебе не признаю!»  
И с бранью матерной свирепо  
В стекло зеркальное плюю.

Одновременно (что за чудо?)  
На горке сдобной, невзначай,  
Как бонза, может быть, сам Будда, —  
Вдруг вырос новый каравай...  
С живою булочною рожей,  
С улыбкой лунной во весь рот,  
На круглую луну похожий,  
Ко мне навстречу он плывет.

## VI

Потом над рожеею звериной  
Вдруг чья-то вскинулась рука,  
И в тот же миг перед витриной  
Я от пинка и тумака  
Упал на землю, растянулся  
Во всю длину, лобзая прах...  
Бессмысленно я улыбнулся,  
Ожог почувствовал в руках.

Сперва чего-то я не понял.  
Меня свалили. Это так.  
Дождь. Глаз враждебный. Голод пронял  
Нутро, и как-то я размяк.  
В двух-трех шагах от магазина  
Очнулся. И на мостовой  
Вмиг заслонила пелерина  
Сорбонны купол золотой.

## VII

— «За что?» — прошевелили губы.  
Я приподнялся, еле встал  
И тут-то облик зверя грубый,  
Вглядевшись пристально, узнал.  
Витрины, булки вспоминая,  
В нем сразу память признает  
Тот самый образ каравая  
С улыбкой лунной во весь рот.

Передо мной сверкнула пряжка:  
— «Ты кто? Ты — русский? Большевик?!  
Твой документ!...». Вдыхаю тяжело  
В ответ на полицейский зык.  
И из кармана бокового  
Разодранного пиджака  
Бумагу достаю без слова,  
А в сердце ширится тоска.

## VIII

Пью молча стыд... От униженья  
И боли точно к сердцу кровь  
Прихлынула! И отраженья,  
В стекле кивающего вновь,  
Я словно слышу, удаляясь,  
Крик провокаторский: — «Эй, раб!  
Зачем, по городу слоняясь,  
Ты весь согнулся, духом слаб?»

Уже не чувствую озноба,  
Но сыро на душе моей.  
Внезапно закипела злоба.  
А ливни городских огней  
От ветра морщились, желтели,  
И отражения домов  
В стеклянных омутах панели  
Разбрызгивались от шагов.

## IX

Дождь моросит. Бич ветра хлесткий  
Крупую изморози бьет.  
С трудом взбираюсь на подмостки  
Строенья, как на эшафот.  
Вдали от полицейской бляхи  
Собратся с мыслями опять,  
Развеять призрачные страхи,  
Сосредоточиться, понять!..

Мне на подмостках не стоитя,  
Во мне суставы все трещат,  
И пестрых мыслей вереницы,  
Как листья, в голове шуршат.  
А ветер за ворот бросает  
Мне горсти ледяной крупы,  
И в дыры башмаков вползает,  
И сводит холодом стопы.

## X

Но уж в сыром тумане тощем  
Чуть зори брезжили, клубясь:  
— «Вот только площадь прополощем  
И смоем городскую грязь!»  
На горизонте сизо-рыжем  
Заполыхали пламена:  
— «Дурные плевелы мы выжжем,  
Ночь нами будет спалена!»

Там, за свинцовой завесой,  
Там, на восточной стороне,  
Лучи, вдруг вспыхнув из-за леса,  
Переливались в вышине.  
Здесь новые рождались звуки,  
И трубы, небо взяв в тиски,  
Как угрожающие руки,  
Уже сжимались в кулаки.

*1949*

## ЩЕПА, ПРИБИТАЯ ВОЛНОЮ

В Париж толкнул его призыв  
Свободы. Эмигрант и русский,  
Поэт, во Францию прибыв,  
Не объяснялся по-французски.  
К тому ж карман его был тощ  
Не меньше, чем его желудок;  
И сеял частый мелкий дождь.  
Как тут не потерять рассудок?

Он растерялся. Ночь и мгла.  
Куда пойдешь порой ночью?  
И оказался без угла,  
Прибитый, как щепы волною,  
К чужому берегу, где он  
Шатался, никому не нужный.  
Так, жизнью вышвырнутый вон,  
В садах встречал рассвет жемчужный.

Есть сад в Париже. Тюильри.  
Там иногда в тени укромной  
Располагался до зари  
Поэт, голодный и бездомный.  
Не то, что Люксембургский сад,  
Спокойный — за оградой длинной,  
Оберегающей Сенат  
Своей чугуною щетиной!

Менял он часто адреса,  
Без адресов слонялся чаще.  
Что ж, кто — куда, а волк — в леса:  
Не худо и в булонской чаще.

Имей поэт хоть двадцать су,  
Не трепеща, зубов не скаля,  
Ночь он провел бы не в лесу,  
А в кабачке рабочем Halle'я.\*

Тепло, и на сердце покой,  
Тарелка супа, булка с салом...  
И почему б часок-другой  
Не промурлыкать за бокалом  
Не слишком кислого вина?  
Откуда взять? Он — безработный!  
Давно прошли те времена,  
Когда дымился завтрак плотный  
Пред ним...

1949

---

\* Аль — центральный рынок, «Чрево Парижа».

## ИЮЛЬСКАЯ СТУЖА

Когда без денег жизни нет,  
И денег нет платить по счету  
В кухмистерской, тогда, поэт,  
Стучись в фабричные ворота!

Не раз он тратил юный пыл  
На пивоваренном заводе,  
В подвалах ежедневно стыл  
С изголодавшимися, вроде  
Него, в цех вечной мерзлоты  
Спускался...

В холоде сугубом  
Заиндевелые цветы  
Лепились к пухлым снежным трубам...  
Стучал зубами фантазер  
В предвиденьи минуты дремы,  
Чаны немилосердно тер  
Глубокие, как водоемы.  
Спускался же туда, на дно,  
По лестнице. Когда фаланга  
Руки застынет, заодно  
В тот миг обдаст его из шланга  
Сопляк, мальчишка озорной...  
Обдаст струею ледяной!  
Поэт проклятьем разражался  
И дергался, как сумасброд,

И воздух он рубил руками,  
Как дервиш: то его трясет,  
То заскрежещет он зубами,  
Тогда как на дворе — жара,  
Лоб как у негра, смугл затылок,  
И прячутся в углу двора,  
В тенечке мойщики бутылок.

«Когда же прогудит гудок?» —  
Мечтает он.

Будь он пролаза,  
Наверх взобрался б на часок  
И до гудка вздремнул вполглаза!  
А в час обеденный свой пай —  
Полдюжины хмельного пива —  
Отдаст товарищу: — «Хлебай!»  
И улыбнется как-то криво...

Он видит радужные сны.  
Вздремнет, на самом пекле лежа,  
И не прогрет еще спины  
Гудок уж слышит.

Снова — то же.  
Вновь — область мерзкой мерзлоты.  
Бежит по трубам воздух сжатый.  
Заиндевевшие цветы  
Мозги морозят до заката.  
И все же счастлив был поэт  
И сыт. Ведь, до того (еще бы!)  
Жил впроголодь немало лет  
И даже не имел трущобы!..

.....  
Поставим точки все над «і»:  
Да есть ли те заводы, где бы  
Кто добывал за все труды  
На все насущные потребности,  
И ночью выпался бы всласть,  
И хлеба пожевал бы вволю?

Зияющая зверя пасть  
Его проглатывала долю.

Так средь цистерн студеных он  
Перемерзал до полугода,  
Пока не выставит патрон  
Его на улицу с завода.

*1949–1968*

## УЖИН У ВЛАДИМИРА ПОЛИСАДОВА

Я — один. Кому я нужен?  
Предоставлен сам себе.  
Если набредешь на ужин,  
Благодарен будь судьбе.

И в панической тревоге  
Я к Владимиру хожу,  
Сочиня по дороге  
То, что я ему скажу.

Слово может много значить:  
Что сказать? И каждый раз,  
Чтобы речь переиначить,  
Я жую мочалку фраз.

Это он меня устроил  
У ваятеля Шарлье,  
Но меня не успокоил  
Угол в грязном ателье.

Чем глухая полночь тише,  
Тем ужасней слышать мне  
Писк неутомонной мыши  
В темноте и в тишине.

Писк пронзителен и тонок.  
Мой испуг необъясним:  
Видно, голоден мышонок.  
Голодаем вместе с ним.

Ох, уж и напасть Господня!  
Просыпаюсь поздно днем.

Друг мой, сердце, а сегодня  
Мы куда с тобой пойдем?

И в панической тревоге  
Я к Владимиру хожу,  
Сочиняя по дороге  
То, что я ему скажу.

С пересмяглыми губами  
И с тяжелой головой,  
Осторожными шагами  
Пробираюсь, сам не свой.

Ну, придешь. Стучишься. Он-то  
Парень-золото. С душой...  
Взял же в жены мастодонта  
Слабый, щупленький такой!

Вот, он, брови сдвинув хмуро,  
Крестится на образа,  
А на темени тонзура  
Так и блещет мне в глаза.

Вот с улыбкою презренья  
За спиной встает она,  
Это взбалмошная Ксенья,  
Барынька, его жена.

На хозяйку в оба глаза  
Смотришь — ниже муравы —  
И затверженная фраза  
Выскочит из головы.

Оттого ли, что в столовой  
Пошучу я невпопад,  
Иль не так скажу я слово,  
Ужину не будешь рад!

Рассмеялся-ль как-то глупо  
Иль нечаянно чихнул —  
Поперхнулся ложкой супа,  
В плечи голову втянул.

Уж она кусает губы  
(Значит — злится!) и встает,  
Багровеет и сквозь зубы  
Произносит: «Ид-ди-от!»

Быть беде! Что, сам не знаю,  
В извиненье бормочу,  
Под гипнозом замираю  
И уж есть я не хочу.

С мелкой судорогой в теле  
Поднимусь, а в сердце — страх!  
И стою я еле-еле  
На расслабленных ногах.

1952

## ЗАЗДРАВНЫЕ СТИХИ

Пью за здоровье Мери,  
милой Мери моей.

*А.С. Пушкин*

Как длинной тенью горной хижины  
В минуту алого заката  
Долина вся поглощена, —  
На годы прошлые, что выжжены,  
На жизнь, веселую когда-то,  
Простерла крылья тень одна.

Пусть звезд ярчайших зерна крупные  
Просеяло по небу сито,  
А ярче их румяный день.  
Их коромысла недоступные  
Поднять не смогут что изжито,  
Что тихо отступает в тень.

Но даже к пропасти толкаемый,  
Вползая в топкое болото,  
Еще хватаюсь я за гать.  
Меня перед зарею чаемой  
Как будто подпирает кто-то,  
На суше тщится удержать.

О миг, ни разу не испытанный!  
У широко открытой двери  
Я песню лучшую спою.  
Мне годы новые отсчитаны.

Пью за твое здоровье, Мэри!  
За наше счастье, Мэри, пью!

*16 мая 1951*

*16 мая 1968*

## НОЧЬ НА 10 (23) НОЯБРЯ 1913 ГОДА

Уже осталась за Карпатами  
Россия темная, как ночь,  
С ее верстами полосатыми,  
Из глаз исчезнувшими прочь.

Уже и ливнем лакированный  
В два ночи Цюрих миновал,  
И провожал меня взволнованный,  
Огнями залитый вокзал.

А я, в испуге, озабоченный  
Безвестностью моих судеб,  
С палящей на щеке пощечиной  
Жевал в вагоне черствый хлеб.

А поезд гулками колесами  
О чем то в уши все бубнил  
И песенками безголосыми  
Мне раны сердца бередил.

*1952*

## НИКО ПИРОСМАНИ<sup>55</sup>

*Кириллу Зданевичу,  
открывателю гения грузинского народа*

Рождались гении не по капризу  
Судьбы и не по щучьему велению.  
Что, если б Слава получала визу  
К художнику-творцу являться Ленью?  
О нет! Прибавить к четверти таланта  
Три четверти труда... Такого сплава  
Достаточно, чтобы родить Атланта,  
Чтоб увенчала живописца слава.  
О ком я говорю?

О Пиросмани.

Он вывески расписывал, малярил,  
Писал картины допоздна в духане,  
Пока последний рупь не разбазарил.

Я вижу пред собою Сакартвело.  
Тут захмелевшие кинто. Ашуги.  
Коней строптивых укрощают смело  
Наездники лихие — князьки слуги.  
Над пенистым потоком — мост упругий.  
А медвежата!

Подойдут вразвалку

И корчат уморительные хари,  
Когда вожатый

даст понюхать палку, —

И пир гремит под звуки сазандари.

Гостей обходит рог вина заветный  
И «мравалжамиер» в час предрассветный,

Теснясь глубоко в сердце человека,  
Вдруг вылетает голосом дрожащим,  
Пока пугливо

в горы

через чащи

Уходит лань,

заслыша дровосека...

То — Картли девятнадцатого века,  
Которую оставил Пиросмани...

И он, всю веру вылив безотчетно  
Пусть во встревоженное бегство лани,  
Заставил полюбить свои полотна.

1963

ТИЦИАН ТАБИДЗЕ<sup>56</sup>

Он шествовал богом Халдеи  
По улицам ранним Москвы,  
Когда в нем мешались идеи  
С шуршанием осенней листвы.

Когда мы надеждами жили,  
В моем рисовалось уме,  
Как буду ему и Яшвили  
Читать своего Малларме.

А раньше еще, в Ананури,  
Задумчив он был, как пророк.  
Он был уже пленником гурий  
И видел, как взводят курок,

Как в саван спеленутый, мертвой  
Звездой он зашел за туман...  
Очей-звезд сияющих взор твой,  
О, кто погасил, Тициан?

Нашелся ль недремлющий ратник,  
Чтоб руку злодея скрутить,  
Когда в свою жертву стервятник  
Хотел уже когти вонзить?

И разве прочтем мы в рассказе,  
Как душу свою ты терзал,  
Когда в свой реестр Саакадзе  
Двадцатым в безумьи вписал!

*1963*

## ДОМА

(На улице Жозеф Бара в три часа утра)

Во глубине — овал оконца,  
И во всю ширь стены — кровать.  
Любил ты пыльный конус солнца  
На коже рук в стужу ощущать.

Сперва под паутиной серой  
В углу блеснет, бывало, луч,  
Осветит полочку с Венерой  
И в скважине замочной ключ.

От двери слева — стол со стулом  
Трехногим, но сидеть нельзя.  
Сел, в положении сутулом  
Съезжаешь, ерзаешь, скользя...

Но, вдохновеньем опаленный,  
Ты слезы сердца изольешь,  
Пока, работой изнуренный,  
В бессилии не упадешь...

1965

## МИРНОЕ ЛЕТО

Не твоя ль свирель сыграла  
Песню мне?  
Слушал я: листва дрожала  
В тишине.

Я не понял на рассвете,  
Что со мной.  
Засвистал ли это ветер  
Снова в бой?

Или лес многоголосый  
Нас позвал?  
Башмаком с травинок росы  
Я сшибал.

Задышался вновь спросонья  
Я от мук.  
Раздавался под ладонью  
Сердца стук.

Встал, увидел из-за веток:  
На устах  
У тебя свирель, и лето —  
В волосах.

*1967*

## КУТЕЖ<sup>53</sup>

Кутеж в разгаре самом. Кислинг  
(Он — с челкой) бьет бокалы о-стол.  
Картину продал. — «Глезу — рислинг!» —  
Орет. С ним Пикассо, апостол

Кубизма, но его по свету  
Пустил Жакоб, создатель школы.  
— «Гарсон, дать кальвадос поэту!» —  
Вин золотых текут пактолы\*.

Ржет с беззастенчивостью Пабло,  
Высмеивая Модильяни:  
— «Полотна мажет кистью дряблой  
Жрец бахусовых возлияний...

Подумать можно, что иного  
Для свинства нет в Париже места,  
Как эта площадь... Эх, корова!..  
Пьян в стельку с одного присеста...»

Глазами злыми василиска  
В Малевича\*\* впилаь Диана,  
Швырнув бокалом, и хоть близко,  
Да, к счастью, не попала спьяна.

Зал буен и гостеприимен.  
Фон-Эссен, Цадкин и Маревна  
Уж тянут «Alle Fische schwimmen»  
С надрывом, хрипло и напевно.

---

\* Пактол — мифический золотоносный ручей.

\*\* Так у автора.

И вскоре в облаке сигарном  
Весь зал гремит, шатаясь пьяно,  
Рефрен с наддачею ударной  
Подтягивает: «О, Сусанна».

Наваливаясь друг на друга,  
Поют, а кажется — рыдают.  
Забыв обиды, голод, ругань,  
Все стены громом сотрясают.

Они как бы в фелюге зыбкой  
Качаются между волнами,  
Меж тем, как золотою рыбкой  
Бокал плывет над головами.

Так, до зари, в кафе затихшем,  
Не думая о катастрофе,  
Мы горло обжигали киршем  
И по-бразильски крепким кофе.

*1968*

## РЕМБРАНДТ ДВАДЦАТОГО ВЕКА

Детина рослый, грязный Сутин  
Глазеет, как пред ним кутилы  
Пьют, чавкают. А он — беспутен.  
Последние теряет силы.

Как Фауст, продал бы он душу,  
На человека непохожий.  
Таща со свалки боен тушу,  
Горит и пишет, страшный с рожи.

Не кровь ли каплет с натюрморта?  
Кермес!\* —

От туши так воняло, —  
Кусок отведай лишь, и черта  
С души сопрет!

Нутро кричало

О голоде. Уж двое суток  
Во рту ни маковой росинки,  
Так корчило. Тут не до шуток.  
Взвуть волком! И, куском грудинки

Завороженный, рвет этюды,  
Юродивый и бессловесный...  
Один серебреник Иуды —  
И попадет он в мир чудесный...

Взять, одолжить, ограбить! Узкий  
Не пустит вход. Рембрандт застенчив.  
Ни по-французски, ни по-русски  
Не говорит... А сколько женщин!

---

\* Красная краска.

Так их и целовал бы в плечи.  
Вон ту память, другую, третью...  
Да нет! И впрямь он — сумасшедший.  
Опутан он коварной сетью

Телес фламандских...  
И у входа  
В минуту головокруженья  
Он утопает, как колода,  
В ужасной проруби затмения.

1968

## ПЕРЕВОДЫ

*Из Пьера де Ронсара (1524–1585)*

### ИЗ ЦИКЛА «КАССАНДРЕ»

О, Дама, жду пера и благодати,  
Насколько волей дух мой окрылен!  
Моим стихом ты будешь побежден,  
О, чарователь аргонавтской рати!

Пиндар, Гораций до меня — лишь сон.  
Мой том по дару песен и заклятий  
Так полн следов орфеевой печати,  
Что Дю-Беллэ — и тот им восхищен.

Пушай Лаура торжествует в мире,  
Пушай она прославлена на лире,  
И ею лишь звенит тосканский стих, —

Что ж, именем своим плена народы  
И королей, как честь французской оды,  
И ты взлетишь на крыльях рифм моих!..

## НА СМЕРТЬ МАРИИ

Мы видим в месяц май на тонких ветках розы  
В их нежной прелести, в расцвете первом их,  
Когда с восходом дня на лепестках живых,  
Росинки свежие трепещут, словно слезы.

Эрот и Грации, порхая в мире грезы,  
Дыханьем полнят сад, когда он свеж и тих.  
Но вянут розы те среди ветров сухих,  
Лишь опалит их зной, и обожгут их грозы...

Так, в первой юности, когда небесный свод  
Почтил твою красу, твой пепел урны ждет.  
Убита Паркой ты... Прими же в дар и слезы,

И кринку молока, и свежие цветы:  
Я их принес тебе затем, чтоб плотью ты —  
Живой иль мертвою — напоминала розы!..

\* \* \*

Как только чуточку росы вкусишь ночной  
Иль утренней, в кустах, встряхнув крылами нежно,  
По прихоти своей игриво, безмятежно  
На деревенский лад заводишь песнь порой.

Увы, не менее настроен голос мой,  
Чтоб в этой чаще петь и чисто, и прилежно,  
Но переходит в плач мотив мой неизбежно,  
И отуманен взор горючею слезой.

Превосхожу тебя. Поешь ты наудачу  
В году три месяца, а я год круглый плачу  
Из-за красавицы, меня в цепях держащей.

Ах, если ты томим любовью, соловей,  
То звуки сладкие с моими либо слей,  
Иль дай мне одному грустить и плакать в чаще.

*Из Стефана Малларме (1842–1898)*

ЛАЗУРЬ

Насмешка ясная лазури вечной, в лени  
Цветам подобная, беспечностью своей  
Гнетет бессильного поэта; он свой гений  
Сам проклял среди пустынь безжалостных Скорбей.

Бегу, смежив глаза, но с силой угрызенья  
В пустой мой дух, его не в силах превозмочь,  
Глядит. Куда бежать? На стрелы уязвленья  
Какую кину ночь, лоскут, слепую ночь?

Туман, вздымись! Пролей свой пепел монотонный,  
Холстами мглы густой обволоки ты высь,  
Всю затопи ее пучиной вод бездонной,  
Безмолвным пологом безбрежно развернись!

Ты ж из летийских струй, любимый призрак Скуки,  
Восстань и собери тростник засохший, ил,  
Дабы замазали твои стальные руки  
Те дыры синие, что голубь наследил.

Еще! В печи треща, пусть вспыхнет хворост, сажей  
Пушай валит из труб, и дыма черный зонт,  
Раскрывшись, заслонит, как дух бродячий, вражий,  
И солнце желтое, и мертвый горизонт!

— Твердь умерла. — Бегу к тебе, хочу забыть я  
Жестокий Идеал и Грех, о вещество!  
Дай мученику сон, постель хочу делить я  
С людьми, познавшими блаженное скотство,

И так как мозг мой пуст, как банка, что, белея,  
Валяется в плевках белил там, под стеной,  
И неприкрашена стелящая идея,  
Хочу средь их скотства зевать пред смертью злой...

Вотще! Злорадствует Лазурь; о сердце, ведай!  
Она кричит уже в колоколах, и встал  
Тот крик, чтоб нас пугать жестокою победой,  
И синим angelus ее исторг металл!

Она, старинная, и съездившись в тумане,  
Как верный меч, сразит тоску душевных бурь;  
Куда бежать в тщете дерзающих восстаний?  
Я *одержим*. Лазурь! Лазурь! Лазурь! Лазурь!

*Из Джона Китса (1795–1821)*

ОДА ПРАЗДНОСТИ

«Не трудятся и не прядут».

I

Три девы как-то утром мне предстали,  
Обнявшись, с наклоненной головой.  
Втроем они в сандалиях ступали  
И в белых одеяньях предо мной.  
Они прошли, как образы на вазе;  
Я восхитился красотой жен  
И ваза, повернувшись, в прежнем виде  
Явила их. Еще раз, как в экстазе,  
Они прошли, и был я поражен  
Их странностью, как их создатель — Фидий.

II

Как, Тени, вас я не узнал случайно?  
Как вы могли под маской скрыть черты?  
Иль меж собой условились вы тайно  
Мне дни оставить, полные тщеты  
И праздности? Настало время дремы,  
Блаженный облак лета в этот час  
Мне веки отягчил сквозь сон туманный.  
У мук нет жала, у цветов — истома.  
О, почему вы не исчезли с глаз,  
Оставив мне лишь области Нирваны?

III

И в третий раз прошли, ступая мимо,  
Ко мне свой обратили взгляд на миг  
И скрылись. К ним влекло неодолимо

Меня: я тайну девушек постиг.  
Любовь узнал в прекрасной первой деве  
И Гордость угадал я во второй,  
Усталой, бдительной и бледнощекой.  
А третья — та, которую во гневе  
Всегда бранят — была любима мной:  
Поэзия! То — демон мой жестокий.

#### IV

Растаяли! За ними — без оглядки!  
Безумец! Что — Любовь? И где она?  
А Гордость? Ах, в порыве лихорадки  
Из мелочных сердец встает, одна!  
Поэзия? Мне с нею нет отрады  
Столь сладкой, как вечерней лени мед  
Иль как насыщенные сном полудни...  
О, если бы весь век не знать досады,  
Не знать, как месяц по небу плывет,  
Предать забвенью мелочные будни!

#### V

И вновь прошли. Зачем? Мечтами вышит  
Был сон. В глазах неясно мельтеша,  
Сны реяли. Лужайкою, где дышит  
В просветах тень, была моя душа:  
Заря вся в облаках, но дождь не лился,  
Хоть взор ее был полон майских слез.  
Олиственные сбивались лозы  
В окне, раскрытом для дроздов и гроз.  
Час пробил, Тени! С вами я простился.  
Мои не пролились над вами слезы.

#### VI

Прощайте же, три Призрака! Не встану  
С травы прохладной, кто бы ни позвал.

Я не поддамся ни за что обману  
И не желаю приторных похвал!  
О, испаритесь! Обретите снова  
На вазе формы образов лепных;  
Ночь и без вас еще полна видений  
И хватит их для забвения дневного.  
Внесите из души ленивой, Тени,  
Вновь к облакам и не слетайте с них!

## ОДА К МЕЛАНХОЛИИ

### I

Нет, бойся струй летийских! Не сплетай  
Венка из лютиков: в них — яд змеиный;  
И бледного чела не украшай  
Рубиновым пасленом Прозерпины!  
В саду не надо тисовых аллей,  
Не дай ты Смерти, бабочке ночной,  
Психеей скорбной стать и не позволяй  
Сове проникнуть в глубь тоски твоей;  
Затем, что тени прилетят толпой,  
Топя души твоей бессонной боль.

### II

Но если Меланхолия слетит  
Внезапно с неба тучей дождевою,  
Что все цветы поникшие поит,  
Холмы покрыв туманной пеленою, —  
Что ж, горе розой утренней насыть  
Иль радугой морских солончаков,  
Иль над пионом голову склони.  
А если милой вздумалось чудить,  
Взяв за руку, стерпи ты горечь слов  
И ласково в ее глаза взгляни.

### III

Ей с Красотой быть, с тленной Красотой,  
И Радостью, что каждое мгновенье  
Рукой, прощаясь, машет; и с больной

Отравой, что таится в Наслажденьи.  
Да, в храме подлинном блаженств хранит  
И Меланхолия святой ковчег:  
Его прочтет, кто сильным языком  
О небо гроздь раздавит терпких нег;  
Он грусть ее владычества вкусит  
И, как трофей, ее украсит дом.

## СОНЕТ

День кончился, с ним — прелесть наслаждений:  
Уста, глас нежный, линии руки,  
Вздых теплый, шепот легкий, полутени,  
Стан томный, стройность форм и глаз зрачки.

Поблек цветок со всеми лепестками,  
Теряется из виду красота,  
Я красоту не удержал руками,  
Стих голос, охладилась теплота.

Не вовремя исчезли в час закатный,  
Когда святая ночь уже идет,  
Любви завешенной и ароматной  
Ткань мглистую для тайных чар прядет.

Весь день читая так любви каноны,  
Я засыпал, говеньем изнуренный.

## ОДА К ПСИХЕЕ

### I

Внемли нестройным звукам, о богиня,  
    Плодам труда и памяти моей!  
Да разгласится тайн твоих святыня  
    До нежных раковин твоих ушей!  
Сегодня мне приснилось, иль Психея  
    Крылатая явилась во плоти?  
Я лесом брел беспечно и, робея  
    От изумленья, встретил на пути  
Прекрасную чету. В траве высокой,  
    Под шелестящей сводчатой листвою,  
Где протекал ручей, вился змеей,  
    Незримый за осокой:

### II

В гряде пурпуроустой, синеокой  
    Цветов, порой слепивших белизной,  
На ложе муравы они лежали, —  
    С обвившимися крыльями чета!  
Неслившиеся томные уста  
Они в полудремоте чуть сближали  
И в поцелуе долгом замирали  
    С рожденьем робким заревой любви.  
Божка назвать сумею.  
Ты ж, горлица, себя ты объяви!  
    Узнал Психею!

### III

О, позже всех явленная мечта  
Вне иерархии богов! Без меры  
Прекрасна ты. Что Феба красота  
И — светлячок небес, — звезда Венеры?  
Ты их прекрасней, хоть не посвящен  
Тебе алтарь цветочный  
И в честь твою не раздаётся стон,  
Гимн девы в час полночный,  
Ни звуки лютни, ни призыв рожка,  
И смирна не курится...  
Прекрасна без священного леска,  
Без капищ и провидца.

### IV

О, славная! Да, смолкли голоса  
Античных клятв и безрассудной лиры,  
Когда священны были всем леса,  
Вода, огонь и воздух, и зефиры.  
Но и теперь, в чужом тебе краю,  
Своими вдохновляемый очами,  
Я вижу, как играешь веерами,  
Пленя Олимп, и о тебе пою.  
Сам буду хором я твоим и стон  
Исторгну в час полночный,  
Я буду песнью лютни и рожка,  
И смирной, что курится,  
И музыкой священного леска,  
И голосом провидца.

### V

Да, я — твой жрец, и я созижду храм  
В безвестной глубине души, чтоб пели  
Широколиственные мысли там,  
Как ропщут под осенним ветром ели.

Семья деревьев далеко окрест  
Озеленит от склона к склону горы:  
Зефирам, птицам, пчелам горных мест  
Да внемлют убаюканные Оры!  
Средь полного спокойствия увьют  
Цветы и розы мирный твой приют.  
Ума ограду я вокруг устрою  
Из звезд, побегов, чашечек цветов,  
Столь разных и несхожих меж собою  
И созданных садовницею снов.  
Все, что в мечтах рисуется воочью,  
Ты там увидишь вновь —  
Свет и окно, распахнутое ночью,  
Чтобы впустить любовь!

## КО СНУ

Целитель мук, полночный слыша бой,  
Смыкает благотворными перстами  
Глаза, которым сладок мрак густой,  
Роящийся божественными снами;

О, если, Сон, тебе сподручней так,  
Сомкни мой взор на середине гимна  
Иль жди «аминя» прежде, чем твой мрак  
Над изголовьем испарится дымно.

Спаси меня иль боль мою лучами  
День воскресит, рассеивая мрак.

От Совести спасешь ли беспорочной,  
Щель роющей, как крот, в ночной тиши?  
Ключ поверни ты в скважине замочной  
И замуруй ларец моей души!

## СОНЕТ,

написанный на пустой странице книги стихов  
Шекспира перед поэмой «Жалоба влюбленной»

Звезда! Будь я незыблемым, как ты, —  
Не в пышности вися уединенной  
На карауле звездной высоты,  
Как страж природы верный и бессонный,

Следя, как море омывает брег, —  
Труд жреческий и длящийся веками! —  
Как падает, слепившись в маску, снег  
Над вересковой топью и горами;

Нет, но всегда незыблемый, главой  
К возлюбленной прикинувшись, ощущая,  
Как груди поднимаются волной,  
Хотел бы я, ресниц не опуская,

Всегда, всегда дыханье пить ее,  
Так жить — иль погрузиться в небытьё.

## СТАНСЫ

В ночь декабря студеную  
    Счастливы древеся;  
Не вспомнят ветви сонные,  
    Что листья — их краса;  
Борей не застудит их,  
Лишь инеем увитых,  
Ничто не нарядит их  
    Побегами весны.

В ночь декабря студеную  
    И ты блажен, мой ключ;  
Не вспомнят струи сонные,  
    Как тепел солнца луч!  
Но в сладости забвенья  
Застынут их теченья;  
В тисках обледененья  
    Они тоски полны.

Так, младость, и твой гений  
    Блаженство испытал,  
Но кто средь наслаждений  
    Мук горьких не знавал?  
А выразить сомненья,  
Не чая избавленья  
От чувств оцепененья, —  
    На то слова бедны!

*Из Джона Байрона (1788–1824)*

Из «Странствий Чайльд-Гарольда»

К ИНЬЕСЕ

1

Не смейся над моей тоской;  
Увы! Не улыбнусь я вновь.  
Да херувим хранит святой  
От тщетных слез твою любовь.

2

Ты хочешь знать, какая грусть  
Убила юные мечты?  
Иль боль тебе поведать, пусть  
Ее унять не в силах ты?

3

То — не любовь, не тайный гнев,  
Не славы низкой мишура.  
Я не от них бежал, презрев  
Все то, что я любил вчера.

4

То скуки тень гнала от всех,  
Кого встречал я нем и тих;  
Краса мне не дает утех;  
Не вижу чар в глазах твоих.

5

То — беспрестанный серый гнет,  
Что вечный жид носил с собой:  
Хоть жизнь покоя не дает,  
А смерти горестен покой.

## 6

И можно ль от себя бежать?  
Куда бы ни звала мечта,  
За мною гонится, как тать,  
Мысль-Демон, жизни духота.

## 7

Другие жизнью прельщены,  
Вкушая все, что я презрел.  
О, пусть всегда им снятся сны,  
И счастлив будет их удел!

## 8

Идти мне долго суждено,  
До дна не выпит мук фиал;  
Но утешенье есть одно:  
Все худшее я испытал.

## 9

В чем худшее? О, из любви,  
Пусть твой не спрашивает взгляд:  
Ты маски с сердца не сорви,  
В нем ты увидишь только ад.

*Из Анхела де Сааведра де Риваса (1791–1865)*

## МАЛЬТИЙСКИЙ МАЯК

Ночь стелется печальная над миром;  
Густые тучи, мрак неошутимый  
И хриплый ураган в одно смешали  
Даль неба, море, землю.

А ты, незримый, высишься надменно,  
И на челе твоём горит корона,  
Царь хаоса, свой пламенник простёрший,  
Свет жизни и надежды.

Напрасно волны море подымает:  
Оно, разбившись о твои устои,  
Укроется, кипя седою пеной,  
В твоей закрытой бухте.

И языком огня во тьме блистая,  
«Здесь!» — говоришь ты лоцману безмолвно.  
Тебя он чтит, как божество святое,  
В тебя свой взор впивает.

Ночь тихая свой расстилает бархат,  
Расшевеленный дуновеньем ветра,  
Расшитый жемчугами звезд несметных,  
Облитый лунным светом.

Тогда, прозрачным затканый туманом,  
Твой корпус выделяется гигантский  
В неясных контурах, и диадема  
Звезде небес подобна.

Спокойно море, притаившись, дремлет,  
Скрывая груды жестких скал и рифы,  
Но то — ловушки, ребра их обманом  
Заманивают судно.

Ты ж, ослепляющий снопами света  
Все море, с вышины неколебимо,  
Как путеводная звезда, спасаешь  
Суда от их коварства.

И факел разума так пламенеет  
В разгар страстей, бушующих, как буря,  
Средь вероломных перемен фортуны,  
Очам души смятенной.

С тех пор, как от преследований рока  
Здесь, на скупой земле, где ты сияешь,  
Мне милостиво небо даровало  
Незыблемую пристань,

Ни разу не случилось, чтоб искал я  
Забвенья мук в наплывах сновидений  
Не обратив очей своих с любовью  
К твоей надежной башне!

И сколько раз еще с морского лона  
Их будут обращать к тебе, кто после  
Разлуки долгой держит путь к отчизне,  
К жене любимой, к детям!

Другим же, изгнанным, как я, и беглым,  
Искавшим и обретшим кров в чужбине —  
Странноприимная звезда! — как много  
Ты говоришь их сердцу!..

Пылай же, будь звездою тем фрегатам,  
Что из моей Испании, хоть редко,

Привозят вести горькие и строки,  
Написанные кровью.

Когда впервые осветил твой факел  
Мои глаза печальные, как шибко  
От счастья в груди забилося сердце,  
Облитое слезами!

Плывя от хмурых берегов тирренских,  
Я, при внезапной перемене ветра,  
Средь отмелей песчаных и неровных  
Видал твой яркий светоч.

Его со мной увидели матросы:  
Они, не слыша собственных обетов,  
Что растворились в ропоте стихии,  
Кричали: «Мальта!! Мальта!!»

Тогда ты нам казался ореолом,  
Сияющим над головой святого,  
Который предлагает отщепенцам  
Спасенье и отраду!

Тебя я не забуду, если только  
Сам не изменишь ты... Я не забуду,  
О, царь ночи, благодетельного света  
Твоей вершины чудной.

За то, что ты напомнил мне сиянье,  
Зажженное взошедшею зарею  
На башне Кордовы, где древний купол  
Сверкает позолотой.

*Из Галактиона Табидзе (1892–1959)*

МОНПАРНАС<sup>57</sup>

Вашей жизни нежную  
Сказку слышу в тихий час;  
Ваша неизбежная  
Пристань — старый Монпарнас.

И сверкают молнии  
Вин в прозрачном хрустале,  
Словно их наполнили  
Стрелы солнца Монпелье.

Кольца дыма странные  
Щиплют сонные глаза.  
Хриплые и пьяные  
Раздаются голоса.

Вижу в переулке я:  
Тенью мертвой старины  
Омнибусы гулкие,  
Дребезжа, уходят в сны.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Л. Н. Мамлина происходила из семьи крупного ростовского промышленника, но предпочла жизнь революционера-подпольщика. Сразу после февральской революции Лещинские вернулись в Россию. И лишь в 1968 году М. Т. узнал, что они были активными большевиками. В «Московской правде» он прочел сообщение о смерти Л. Н. Мамлиной, разыскал дочь Лещинских, тоже художницу Елену Оскаровну, которая рассказала об участии отца в Октябрьской революции, в гражданской войне, о его гибели, и, в свою очередь, узнала от М. Т. подробности жизни семьи в Париже.
2. «Парижский вестник», 30 мая 1914 года:  
«Литературный кружок. В воскресенье 31 мая в 8 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> часа веч. в кафе на авеню d'Orléans, 2 состоится очередной литературный вечер. Прочтут г. г. Оцуп — стихи, В. Пржездзецкий — «Поэму Экстаза», Л. Раппопорт — стихи и М. Талов — «Отрывки из современного романа».  
В заключение обсуждение вопроса об издании литературно-критического альманаха».
- «Парижский вестник», 1 августа 1914 года:  
«Литературный кружок. В воскресенье 2 августа в 9 ч.в. в кафе на авеню d'Orléans, 2 состоится очередное собрание. Прочтут: С. Астров — поэму «Лиза» и несколько слов о «Вечерах» (№ 2) и Марк Талов — стихи».
3. Из письма от 30.01.1915 г. скульптора И. Жукова, уехавшего в Россию в начале войны, парижского товарища М. Т.: «...Гукасов и Свирский в Петрограде. Свирский служит химиком на ниточной фабрике, а Гукасов по обыкновению ничего не делает, если не считать Георгия Победоносца, которого он со Свирским вылепил из снега во дворе своего дома на Литейном проспекте».
4. В книге «Люди, годы, жизнь» И. Эренбург привел эти стихи по памяти, исказив их; «...ни имени, ни отчества...» — отклик М. Т. на прилипшее к нему первое время в «Ротонде» обращение — «дядя Талов».

5. В пятидесятые годы в Москве к М. Т. неожиданно обратилась некая дама, стоявшая как и он, в очереди за апельсинами: «Мы с вами где-то встречались. Вы не бывали у Бальмонта?» После утвердительного ответа: «Там-то я вас и видела! А знаете ли вы стихотворение Бальмонта «Алисе»? Я и есть та самая Алиса». М. Т. хорошо знал поэзию К. Бальмонта, а стихотворение «Алисе» как раз было помещено в сборнике, подаренном поэтом М. Т. Но даму эту он видел впервые, в этом М. Т. не сомневался. Позже выяснилось, что это была Алиса Коо-нен, с которой М. Т. никогда прежде не встречался. Как она угадала в нем знатока поэзии Бальмонта? Это осталось загадкой. Оказалось, к счастью, что она дружна с Ниникой — Ниной Константиновной Бруни-Бальмонт. При первой же встрече Нина Константиновна воскликнула: «Так вы и есть тот самый Талов, который сел у нас в доме на горячую печку?! Я помню, как мы с кузиной гасили вас полотенцами. Мы с мамой часто смеялись, вспоминая этот случай». С этой встречи и до самой смерти поэта, Нину Константиновну и М. Т. связывала самая теплая дружба.

6. «Улей» («La Ruche des Arts») — восьмигранное трехэтажное здание, ранее служившее «Павильоном вин» на Всемирной выставке 1900 г. в Париже. После завершения выставки павильон был перемещен на окраину города. Небольшие помещения, расположенные вокруг центральной лестницы, хозяин за невысокую плату сдавал художникам и скульпторам под мастерские, в которых они и жили. Иногда здесь находили пристанище и политэмигранты.

Из письма Сергею Шаршуну от 11.02.1968 г.: «...мне дважды довелось быть жильцом La Ruche. В первый раз накануне первой мировой войны, второй раз — в начале 1918 года. Память сохранила многих монпарнасцев в «Улье»: Инденбаума, Мещанинова, Архипенко, Цадкина, Маревну, Эпштейна, Кремня, Сутина...».

7. Из дневника: «15 мая 1950 г. В ЦДЛ вечер французской прогрессивной литературы. Поль Элюар надписал книгу своих избранных стихотворений, которую мне несколько лет назад подарил И. Эренбург. Подошел к Андре Вюрмсеру, очень обрадовавшемуся мне. Мы с ним встречались в Париже в 1919 году,

когда оба работали в журнале *Le Lettres Parisiennes*. Вюрмсер представил меня [художнику] Борису Таслицкому. Я рассказал ему все, что узнал со слов его матери о трагической смерти отца, о поведении Бравского. Как оказалось, мать не рассказывала ему об этом».

8. В монастыре М. Т. был усердным послушником, ревностно молился; за ватиканское произношение латыни был вознагражден четками, освященными Папой римским... Епископы заметили его способности, искренность, усердие, сулили ему блестящую церковную карьеру, но требовали беспрекословного подчинения. Жить по чужой воле М. Т. не захотел и поэтому покинул монастырь.
9. Эрнестина Сигизмундовна Ловенгардт (1894–1944) — первая жена М. Т. В книге «Люди, годы, жизнь» Илья Эрэнбург ошибочно пишет, что невеста ждала М. Т. в России 20 лет. На самом деле М. Т. и Эрнестина Сигизмундовна поженились через 9 лет после расставания.
10. Из газеты *Le Journal de Paris* (дата не установлена): «Комиссар полиции округа Плезанс, господин Эрнест Рейно, вышел в отставку. Это фигура вполне парижского масштаба, которую всегда с удовольствием встречали в самых различных кругах. Человек, отвечавший за безопасность жителей округа, помимо этого был поэтом «Рогов Фавна» и «Башни из слоновой кости», ставшим вместе с Жаном Мореасом и Морисом Дюплесси основателем Романской школы и верным сотрудником «Пера», усердно посещавшим его вечера. Поль Верлен находился в большой дружбе с Эрнестом Рейно и признавал его талант.

Теперь, когда Эрнест Рейно не является больше должностным лицом, можно поведать читателям о том, что в свое время поклонники Музы нередко выбирали местом для ночных мероприятий квартал, находившийся под его контролем.

Лишь однажды Эрнест Рейно позволил себе осадить одного из своих собратьев — Адольфа Р. ... безудержного и вспыльчивого. Тот часто по-дружески навещал господина Рейно в комиссариате; естественно, шли разговоры о литературе. Как-то раз гость мимоходом оклеветал Стефана Малларме. Разумеется, Эрнест не мог не выразить своего несогласия. Адольф Р. ... вспылил и грубо оскорбил представителя закона, а заодно и принципы символистов...».

11. Голландский художник Пьер де Вальхерн 19.05.1918 г. направляет М. Т. письмо по такому адресу: «г. Марку Талову, в кафе «Ротонда», бульвар Монпарнас, угол Распай, Париж».

В этот же период, видимо продолжающегося конфликта М. Т. с епископами католической церкви, де Вальхерн дарит М. Т. свою книгу «Дневник обращенного» с надписью: «Марку Талову, которого я очень люблю, но которого любил бы еще больше, если бы он понимал, какое большое значение имеет его переход в католичество.

Париж, 30 июня 1918 г.».

12. Жан Кассу (1897–1986) французский писатель, редактор, издатель журналов *Les Lettres Parisiennes* и *La Vie des Lettres*, автор «Энциклопедии символизма» (М.: Республика, 1998).
13. Рене Гиль (1862–1925) — французский поэт, переводчик, литературовед-теоретик, ученик Стефана Малларме. Сотрудничал с Валерием Брюсовым в журнале «Весы».

Ниже письма Рене Гиля к М. Т.:

«М. Талов  
9, ул. Жозеф Бара

Париж, 6

Дорогой поэт, я надеялся в пятницу, 20-го снова Вас увидеть [...] Ноты и часть поэмы для Вашей антологии готовы. Сделайте мне дружескую услугу, приходите завтра в воскресенье после 3 часов. В это время мы обычно принимаем нескольких друзей. Мы поговорим, и я отдам Вам эти бумаги. С благодарностью, весьма сердечно и до завтра.

25.03.1922 г.

Гиль».

Следующее письмо получено М. Т. уже в Берлине. К сожалению, почерк Рене Гиля весьма неразборчив. Этим объясняются многочисленные купюры.

«Адрес в настоящее время  
и до сентября: Melle  
(Deux-Sèvres), France.

4 июля 1922 г.

Мой дорогой Поэт,

Я очень рад хорошим новостям от вас, рад узнать, что вы устроились, работаете и уже подготавливаете издание стихотворений и переводы Малларме. Я получил Вашу открытку

здесь, куда я только что приехал, и задержался с ответом на нее (надеюсь, что вы извините меня), так как я не окончил мою книгу об истории поэзии в период с 1884 по 1895 год («Символизм и научная поэзия в полемике»). Мне осталось написать полсотни страниц. Том должен выйти в ноябре.

Есть ли у вас новости о Валерии Брюсове, приехал ли он? Если да (*неразб.*), с выражениями нежной дружбы. В майском номере (*неразб.*) появилась статья Arman Ghanian, где она говорит о новой поэзии в эпоху революции. В ней она пишет о Брюсове и о великолепном (*неразб.*), посвященном мне, изданном в Москве в 1904 г. Статья замечательная.

Я прошу вас принять благодарность за статью обо мне, над которой, как вы мне сообщили, в настоящее время работаете (*неразб.*) за то, что вы храните память об очень интересных дружеских беседах, которые мы вели дома этой весной. Мы возобновим их, когда вы вернетесь в Париж.

По возвращении в Париж я не премину сказать друзьям, чтобы они послали вам свои книги, и благодарю вас от их имени. Надо, не правда ли, чтобы интеллектуальные элиты объединились и сплотились для создания в нынешнем разрушительном хаосе новой души — сильной, думающей, обладающей верой в себя и в совместное усилие.

До скорых известий о вас и вашей работе.

Сердечно ваш

Рене Гиль».

14. С помощью друзей М. Т. мог уже оплачивать мансарду — небольшое чердачное помещение без всяких удобств. В мансарде стояли стул, стол, кровать, старая фисгармония. Друг-художник подарил одеяло. На одежду средств не хватало. Выручали друзья — дарили свои старые костюмы. Труднее всего было с обувью. В разное время он пользовался известным в богемной среде рискованным способом: в сумерках заходил в дешевую гостиницу, быстро сбрасывал в коридоре свои башмаки и присваивал подходящую пару обуви, выставленную за дверь номера для чистки.
15. Макс Жакоб (1876–1944) — французский поэт и художник, основоположник кубизма. В архиве М. Т. сохранилась рукописная автобиография Макса Жакоба, написанная, вероятно, для предполагавшегося издания русско-французского журнала:

«Мой дорогой Талов!

Я родился в Кемпер, Финистер, в Бретани 11 июля 1876 года в семье коммерсанта. Воспитывался в лицее. Был глуповат, хотя иногда высказывал довольно меткие, неожиданные соображения. Когда однажды меня спросили, кем я стану, я ответил, что буду оперным певцом и женюсь на самой красивой женщине мира... С 13 лет я стал первым учеником. Я даже получил поощрение на генеральном конкурсе по философии. Надеялись, что я поступлю в Эколь Нормаль Суперьер. Чтобы этого избежать, я решил посвятить себя службе в колониях и поступил в Эколь Колониаль.

В 1897 г. я бросил учебу, чтобы стать художником. Этим я очень огорчил свою семью. Впал в нищету. Чтобы как-то зарабатывать, стал писать статьи об искусстве, которые пользовались успехом. Однако я понял, что не знаю литературного ремесла. И я все сделал, чтобы им овладеть. Зарабатывал на жизнь, работая гувернером, помощником поверенного, человека доброго, филантропа. Потом служил в коммерческой фирме. Чтобы освободиться от этого рабства, начал писать сказки для детей.

Пикассо, которого я знал, будучи художественным критиком, в 1899 году провозгласил меня поэтом и представил своим друзьям. Я вошел в богему. В 1904-м я написал поэмы в прозе, которые были восприняты, как нечто революционное. Тогда же я познакомился с Аполлинером, с Сальмоном, символистами. Все они жаждали чего-то нового в литературе.

В 1909 году на меня снизошло откровение, которое перевернуло мою жизнь, стало толчком к моим творческим успехам.

Я никогда не бросал живопись. Первые мои успехи совпали с началом войны.

С 1921 г. я живу в Сан-Бенуа на Луаре (деп. Луара) в доме священника.

Вот и вся моя жизнь.

Спасибо.

Макс».

19.09.1920 г.

«М. Талов  
9, Жозеф Бара  
Париж, VI

Дорогой друг,

[ ] Завтра в 10 час. я получу для тебя 200 франков. Если случайно я не окажусь дома, когда ты придешь за ними, ты их най-

дешь в лавочке напротив в запечатанном конверте с адресом Жермен, которая мне их сейчас пришлет.

Твой друг и поклонник

Макс Жакоб».

01.04.1922 г.

«М. Талов

9, Жозеф Бара

Париж, VI

Мой дорогой поэт,

если ты не получил перевод по почте, посланный 5 января, я прошу известить меня, чтобы я мог принять меры. Не благодари меня за 50 франков, они от принца Жоржа Гия, я же прибавил лишь 5 фр. 80 к его щедрости. Это пустячок для миллионера!

Верный тебе всем сердцем,

навсегда преданный тебе

Макс Жакоб».

16. Из письма Жака Маритена (1882–1973) от 02.04.1922 г.

«Мой дорогой Талов, не хотели бы Вы приехать на ужин к нам домой в субботу 8 апреля часам к пяти. У нас будет время побеседовать. Поезд в Версаль с вокзала Монпарнас в 16 ч. 42 м. Я дам Вам экземпляр книги, где я Вас упоминаю. По поводу Вашей рукописи я написал господину Филипару. Сейчас он болен. Надеюсь получить от него новости к субботе. Если я что-либо узнаю до этого, напишу Вам.

От всего сердца

Жак Маритен»

Жак Маритен от 13.04.1922 г.:

«От всего сердца благодарю Вас за Ваше хорошее письмо. Я очень доволен, что все так гладко прошло у Филипара. Я от души его поблагодарю Если Вы еще будете 23-го (Квазимодо)\* в Париже, не хотели бы Вы приехать пообедать ко мне в Версаль. Поезд с вокзала Монпарнас в 11 ч. 10 м. Вы знаете, что Господь ищет и всегда находит потерянных овечек. Будьте же той найденной овечкой, которая с каждым днем все ближе к Всевышнему в приближающейся радости Воскресения Господня.

Заверяю Вас, мой дорогой Талов, в моей верной дружбе. Наступает Пасха. Мы с Вами, дорогой Талов, друзья в нашем Господе Иисусе Христе».

---

\* День «Квазимодо» — первое воскресенье после Пасхи. Начальные слова мессы в католических храмах в этот день: Quasi et modo...

Надпись, сделанная Ж. Маритеном на книге Jacques Maritain. Art et scolastique, «Art catholique», Paris 1920:

«Дорогому поэту Талову, которому, надеюсь, понравится эта книга, потому что и он, и я одинаково любим Рейсбрука и Вийона.

Жак Маритен»

17. Ж. Гаске — М. Талову

«Месье Марк-Мария Талов  
9, Жозеф Бара  
Париж, VI

Дорогой поэт, буду рад Вас видеть в один из вторников среди «Друзей искусства» на бульваре Распай, 99 около 3 часов. Принесите одну из Ваших неопубликованных патетических поэм, как та, в которой изображены улицы Парижа. Я думаю опубликовать ее в журнале.

Вы большой Поэт, и я Вас очень люблю.

30.06.1920 г.

Жаошен Гаске»

Ж. Гаске умер в том же 1920 году.

18. Поль Фор (1872–1960). Впервые званием «Принц французских поэтов» был удостоен Стефан Малларме.

М. Т. так описывает Поля Фора: «...с длинными закинутыми назад черными волосами, сюсюкающий, с присвистом вдохновенно декламирующий свою ритмическую прозу...».

«У Принца поэтов. Вторник в Клозри де Лиля. Вторники в Клозри де Лиля знамениты во всем мире. Они были основаны лет 18 назад Жаном Мореасом и Полем Фором, «лейтенантами» которых были Гийом Аполлинер, Андре Сальмон, Александр Мерсеро, Жан Руаер, Жорж Полти и т. д. Вся заграница знает Клозри де Лиля и вот почему. Художники всех национальностей, живущие в Париже, уверены, что каждую неделю, во вторник, они найдут здесь своих собратьев. Это, если можно так сказать, некий литературный и художественный банк, незакрытый круг, куда они могут прийти, чтобы получить всю полноту знаний об избранном ими искусстве.

Здесь в дыму и шуме видишь не только представителей всех школ, но и всех стран от Англии до Китая через Аргентину, Северную Америку, Россию... В прошлый вторник здесь

было до трехсот писателей и художников, группировавшихся вокруг таких личностей, как Поль Фор, Сент-Жорж де Буэлей, Александр Мерсеро, Дирикс...

Среди теснившихся вокруг столиков Ла Клозри де Лиладель мы могли узнать писателей Иоганна Буаера, Гарсия Кальдерона, Венсана Мюзелли, скульптора Росси, главу молодой французской живописи Марселя Гайяра, мадам Ханну Орлову, русского поэта Марка Талова, немецкого художника Отто Грантова, художника и теософа из Индии Хари, американского художника Гаррисона и т. д., и т. д...

Comaedia, 14.11.1920 г.

A. d'Esprades»

20 декабря 1921 г.

«Марк Людовик Талов  
9 Жозеф Бара  
Париж, VI

Дорогой друг!

Эти два билета на мой вечер в следующий четверг в Одеон. К сожалению, кресла в разных местах, но они недалеко одно от другого и места хорошие. Извините меня, я не смог подобрать других билетов.

Всегда Ваш

Поль Фор».

19. За два с половиной года в переводе на французский, в основном авторизованном, появилось, по меньшей мере, тридцать стихотворений М. Т.

Из рецензий:

Action Française, 11 марта 1920:

«...Трогательная «Песня» Талова в L'Oeil (апрель). Ориону хотелось бы знать русский язык, чтобы суметь прочувствовать эту протяжную, трепетную мечтательность...»

Орион»

Ere nouvelle, № 89, 24 марта 1920

«...В Le Monde Nouveau от 15 февраля [...] прекрасные стихи русского поэта Марка Талова, серьезные и страстные».

L'Événement, 31 марта 1920:

«Le Monde Nouveau подарил нам один очень интересный номер, где среди великолепных произведений можно отметить стихо-

творения Марка Талова. Сочиненные на русском, они подарены нам в переводе, но их поэтический ритм таков, что даже и на французском мы ощущаем оригинальный личностный темперамент. Христианское блаженство и смирение придает аромат его стихам. Но его страстная натура, жаждущая идеалов, вносит в стихи человеческий знак страдания, страдания поэта, молодого и чувствительного.

Obnubile»

К этому же времени вероятно (дата отсутствует) относится записка Жана Кассу<sup>12</sup>: «Старина Талов! Я буду рад выполнить как можно скорее свое обещание опубликовать Ваши стихи в журнале [...] Рад буду с Вами повидаться. Встретимся в «Ротонде» или у Рамея».

В период хрущевской оттепели, М. Т. смог по переписке разыскать многих друзей своей юности. Он переписывался с Сергеем Шаршуном, Александром Гингером, Луи Арагоном, Анри Рамеем...

Из письма художника Анри Рамея от 01.1967 г.: «...Мы с мадам Рамей часто вспоминаем то счастливое голодное время, которое скрашивалось нашей дружбой. Богема была бедна, но красива, потому что это была наша юность [...] Вы и несколько других Ваших соотечественников помогли нам лучше понять и полюбить Россию... [...] Посылаю Вам адрес Жана Кассу. Он будет рад получить от Вас письмо. Во время оккупации варваров я был участником сопротивления, чудом остался жив [...] Ваше письмо осветило нам конец 1966 года. Я читал его моим друзьям [...].»

20. Из письма М. Т. к Ладю Гудиашвили от 12 марта 1967 г., см. «Ладю Гудиашвили. Книга воспоминаний. Статьи. Из переписки. Современники о художнике.» М., «Советский художник», 1987, с. 210–211.

«...Я помню, на каком месте сидел Модильяни, когда рисовал меня в «Ротонде». Если представить, чтоходишь в «Ротонду» не с главного входа, не с бульвара Монпарнас, а с той стороны, где всегда со свистом вырывались пары благоуханного кофе, с той стороны, где находилась касса и разные рулетки, откуда с блюдами вихрем проносились гарсоны. С правой стороны от этого прохода за первым же столиком мы сидели с Модильяни...».

Фотографии портретов М. Т., выполненных Модильяни, были впервые опубликованы в монографии В. Виленкина «Амедео Модильяни» («Искусство». М., 1970). В создании этой книги М. Т. принимал непосредственное участие. В многочисленных беседах он делился с автором своими воспоминаниями о Монпарнасе и его обитателях. К сожалению, М. Т. не увидел этой книги — она вышла в свет после его смерти. «... Марк Владимирович живет в этой книге в силу удивительной, редкостной щедрости своей души...», пишет В. Я. Виленкин, адресуясь М. А. и Т. М. Таловым.

21. Первые переводы стихов М. Т. на французский язык для журнала *Montparnasse* были выполнены Виктором Розенблумом и его сестрой Анютой Фюме. В дальнейшем М. Т. сам переводил свои стихи.

Однажды Анюте Фюме привелось исполнить и музыкальное произведение, сочиненное М. Т. Случилось это следующим образом.

В кругу друзей зашел спор, что легче сочинять — музыку или стихи. Все решили, что стихи, а М. Т. утверждал, что настоящие стихи сочинить также трудно, как и музыку. Спор кончился тем, что М. Т. заперли до утра в комнате, где стоял рояль, и он, не имея даже элементарного музыкального образования, сочинил пьесу. Кто-то сделал нотную запись, а мадам Анюта Станислас Фюме исполнила это произведение перед участниками спора.

Присутствовавший при этом художник Эмиль Бернар заявил, что М. Т. непременно нужно серьезно учиться музыке, и тут же написал рекомендательное письмо своему другу, директору парижской консерватории Венсану д'Энди.

Разумеется, нищему поэту нечего было об этом и мечтать. А письмо он сохранил.

15 набережная де Бурбон

Monsieur  
Vincent d'Indy  
E. V.

«Дорогой мэтр,

Я беру на себя смелость направить к Вам одного из моих друзей, М. Талова. Он показал мне несколько страниц музыки, которую хотел бы предоставить Вашей высокой компетенции.

Если Вы найдете в нем потенциального композитора, он полностью Вам доверится, чтобы получить необходимую подготовку.

Мы давно с Вами не виделись, тем не менее я решаюсь направить к Вам очень интересного молодого человека.

Соблаговолите, дорогой мэтр, принять уверения в моей почтительнейшей приязни.

Эмиль Бернар».

22. В 1961 г. в Париже вышла книга Жанны Модильяни об отце — «Модильяни без легенды» (Modigliani Jeanne. Modigliani sans légende. Paris: Gründ, 1961). Жанна прислала ее М. Т. с дарственной надписью: «Марку Талову со всем моим уважением и симпатией». Позднее с Ритой Райт-Ковалевой она передала и итальянское издание этой книги, написав ее: «Марку Талову с нежностью».

В письме от 04.02.1969 г. М. Т. представляет Жанне Нину Константиновну Бруни-Бальмонт: «Нина Бальмонт — дочь величайшего русского поэта, заслуги которого были по достоинству оценены во французских литературных кругах». Из ответа Жанны: «...Я не так невежественна в русской литературе, как Вы думаете. В первые 20 лет моей жизни, которые прошли в Италии, я прочла все-таки, хотя и в плохих переводах, Блока, Есенина, Пастернака и даже Бальмонта...».

М. Т. 03.03.1969 г.: «...Есть имя, которое Вы упустили. Я имею в виду Мандельштама. Мандельштам велик, но велик по-особому. Его стихи надрыдают душу и сильнее, чем поэмы Пастернака, намного сильнее. Я хочу привлечь Ваше внимание к его поэзии».

Как и ее родители, Жанна Модильяни рисовала. В свои письма она часто вкладывала выполненные на картоне маслом или тушью абстрактные композиции.

23. С просьбой написать предисловие М. Т. обратился к Н. М. Минскому. Его ответ от 31.03.1919 г.:

«...Охотно бы исполнил Вашу просьбу, т. к. Ваши стихи не лишены ни огня, ни искренности, но сознаюсь Вам, что французская манера предисловий мне никогда не нравилась. Это какая-то взаимная реклама. Старый писатель рекламирует молодого тем, что пишет предисловие, а молодой — старого

тем, что обращается за предисловием. Знаете русскую поговорку: гречневая каша сама себя хвалит.

Стихи Ваши сами по себе хороши. Издайте их как есть, и позвольте Вам от души пожелать успехов.

Уважающий Вас

Н. Минский»

Деньги на издание дал художник Феликс Лебон: «Возвращать ничего не надо. Вы не представляете, на какие пустяки я трачу свои средства. Достаточно, если Вы подарите мне один экземпляр книги». Однако издание книги задержалось более, чем на год. Сначала деньги у поэта выпросил его друг художник Антонио Симонт: «Мне нужен хороший костюм, мне стыдно приходить в дом к невесте» (невеста — Марсель Лиони, художница из богатой семьи). Наконец, втайне от Симонта, деньги вернула сама невеста, и М. Т. передал их издателю. Тот закупил бумагу и приступил к изданию. Отпечатав половину тиража издатель (он же наборщик и переплетчик) запил и продал оставшуюся бумагу. М. Т. был в отчаянии, избегал Лебона, боясь, что тот сочтет его обманщиком. Наконец, тираж был завершен — половина на хорошей, другая — на скверной бумаге.

24. М. Т. был частым гостем Мережковских. По его свидетельству Мережковского живо интересовала литературная жизнь Парижа, католическая философия. В мае 1922 г. перед отъездом в Берлин М. Т. зашел к Мережковским попрощаться. З. Н. Гиппиус, конечно же, догадалась, что Берлин — это дорога в Россию. Она была так возмущена, что даже не вышла из своей комнаты.
25. Из статьи критика Ж. Шюзвиля\* (*Mercure de France*. P. 1922. 15.VI) «Двойное бытие» — произведение подлинного поэта, к которому, признаюсь, чувствую живую симпатию. Его поэзия — это он сам, простодушно-сложный и отличающийся смиренномудрием — не перед людьми, — той приметой душ, для которых жизнь — неиссякаемый источник изумления. Читая

---

\* Жан Шюзвиль — французский поэт, критик. Переводчик русских поэтов и прозаиков. Переводил Пушкина, Брюсова, Мережковского, русские сказки. Еще до революции бывал в России, тогда же познакомился с М.И. Цветаевой, переписывался с ней. В 1910–1920-е годы считался главным французским специалистом по новейшей русской поэзии.

Талова, в какой-то момент понимаешь, что бедность откликается на некое мистическое призвание, веришь, что богема — это нечто необходимое поэту. Эта тоска по самому простому — хлебу, одежде, женщине — не является ли она на самом деле ничем иным, как превращением знака в суть, жреческим действием, возвращающим словам их глубокий жизненный смысл. Таким образом, у этого поэта нет разлада. За заглавием «Двойное бытие» скрывается цельность бытия поэта. Талову присуща бессознательная ирония художников и богов: он сам творит свою жизнь — единственный способ не быть ею раздавленным...».

М. Слоним так завершил обзор поэтических сборников: «Вряд ли можно выделить из этого длинного списка два-три имени, заслуживающих внимания. Исключение, пожалуй, составляют несколько подражательные, но талантливые стихи М.-Л. Талова («Двойное бытие» и «Любовь и голод» — Париж) и два сборника стихов Вл. Сирина («Горний путь», «Гроздь»)). («Русская зарубежная книга», ч. 1, Прага, 1924, с. 103).

26. Весной 1921 г. монпарнасские поэты и художники решили возродить традицию старых литературно-художественных кабаре, в которых царил дух чистой поэзии. Специально созданный комитет следил за тем, чтобы в работу кабаре не вмешивалась ни политика, ни коммерция. В «Хамелеоне» стали собираться представители разных монпарнасских художественных движений. Слушали доклады о творчестве Верлена, Малларме, Бодлера, Рембо... Для чтения стихов иногда приглашали актеров из театров «Одеон» и «Старая голубятня». М. Т. был постоянным участником этих встреч.

В августе 1921-го прошел вечер, посвященный русской литературе и русскому народу. «Поочередно брали слово инициатор этого вечера Марсель Сэ и русский поэт Марк Талов. Страницы Октава Мирбо, Суареса, Анатоля Франса, Верхарна, Роже Девиня, Достоевского, Толстого с чувством читали Марсель Сэ, Поль Юссон, Курбель, Бартю, Бушар. Талов пылко продекламировал в высшей степени благородные и мощные стихи недавно умершего русского поэта Александра Блока (Montparnasse, 1 сентября 1921 г.).

27. Критик Ж. Шюзвиль присутствовал на открытии «Палаты Поэтов»: «Цель группы — вновь собрать силы, рассеянные по

свету в изгнании. Автор пронзительного сборника «Любовь и голод» Марк Талов, Парнах, Шаршун, Гингер и др. поэты будут читать свои неопубликованные стихи, знакомиться с новостями поэтической жизни нынешней России. В эту группу входят также хорошо известные художники Судейкин, Гудиашвили и др. Музыкальные вечера организует бывший режиссер «Летучей мыши» Вермель. Обещал свою деятельную помощь музыкальный критик знаменитого журнала «Аполлон» Андрей Левинсон. Короче, это объединение молодых русских поэтов, художников, музыкантов, которое отныне в самом сердце Латинского квартала будет регулярно проводить свои заседания, и это заслуживает самого живого интереса» (*Les hommes du jour*. P.1921, 13.VIII).

«Несколько молодых поэтов, живущих в Париже, вслед за своими французскими коллегами открыли цикл вечеров в «Хамелеоне», небольшом кафе на бульваре Монпарнас, превратившемся в выставочный зал. Здесь проходят поэтические чтения. В спешке организаторы не определили свою программу, поэтому помимо удачных поэм, которые нам довелось услышать, прозвучали также несколько посредственных эссе. Валентин Парнах прочел отрывки из своей заумной новой композиции, посвященной Эйфелевой башне и джаз-банду. Марк-Людовик Талов — несколько трогательных стихов о своей жизни. Евангулов — колоритные стихи в теплых тонах Кавказа. Следует также запомнить имена Шаршуна и Гингера.

Ж. Шюзвиль».

(*Mercure de France*, 15 сентября, 1921 г.)

В отличие от бесплатных вечеров французских поэтов, которых поддерживали богатые любители искусства, «Палата поэтов» могла рассчитывать только на себя. Плата за вход составляла 5 франков. Занималась «Палата» и издательской деятельностью. Так в 1922 г. с грифом «Палата поэтов» вышли книги Г. Евангулова «Белый духан» и А. Гингера «Свора верных». Как и следовало ожидать, «Палата» задолжала хозяйке «Хамелеона», и она «конфисковала» работы С. Судейкина. Из их числа нам известен только портрет В. Парнаха, воспроизведенный в книге «Карабкается акробат» (Париж, 1922 г.).

Из письма М. Т. Георгию Евангулову от 16.11.1964: «...Ваш адрес сообщил мне наш общий друг Сергей Шаршун. Списал-

ся я и с Гингером. Нечего и говорить, до чего меня обрадовала весть о том, что к двум «сопалатникам» я теперь могу прибавить и третьего — Вас. Четвертый — я, Талов «воскрес из мертвых» [...]. В Тбилиси я увиделся с Ладом Гудиашвили. Мы с ним смеялись сквозь слезы, вспоминая Париж и глубоко сожалея, что были настолько неразумны, что не догадались сняться всем содружеством «Палаты поэтов»! [...] Жив еще и пятый сопалатник — Борис Борисович Божнев [...] Остальные два, Парнах и Струве умерли».

28. За десять лет жизни в Париже М. Т. стал неотъемлемой частью мира Монпарнаса.

«В колонии иностранцев квартала Монпарнас уже добрых десять лет заметна интересная литературная личность — Марк-Мария-Людовик Талов.

Лицо в высшей степени выразительное — страдающего поэта, пессимистического мечтателя, кузнеца образов — вот это лицо Талова.

Учтивый, приветливый, он пробирается между столиками больших художественных кафе, и со всех сторон ему протягивают руки. Поэт с сияющими голубыми глазами, с чувственным ртом, с по-славянски курносый носом нежно улыбается, а его матовое лицо выражает неизъяснимое страдание, потому что поэт Талов — он сущий поэт, именно русский поэт в изгнании, и как таковому ему лишь с трудом удастся утолить свой голод.

Ах! Если бы поэт Талов писал в русских газетах, если бы он умел смешиваться с будничной жизнью, слишком будничной, увы! он, может быть, был бы «материально обеспечен». Но этот неподкупный мечтатель, этот неисправимый ловец образов поклялся в верности своей музе.

Как в течение уже десяти лет живет поэт, каким чудом удастся ему, не имея никакой настоящей профессии, удовлетворять потребности своего желудка? Это Талов расскажет нам, если решится взяться за низменную прозу. И тогда мы, несомненно, будем иметь любопытные страницы о мученичестве неприспособленного поэта, заблудившегося в меркантильном XX веке.

...Он здоров и молод, вокруг него волнуется жизнь, полная изобилия и роскоши. Он блуждает по улицам в поисках новых ощущений. Всеми своими чувствами поэт поглощает впечатле-

ния, накапливает их и с любовью превращает в прекрасные стихи. Он весь в своем первом впечатлении — у него образ и дыхание пульсируют в одном ритме.

Вот почему все, что подписано фамилией Талов, заключает в себе столько простодушия, решительного очарования и неизъяснимой прелести...» (*Les hommes du jour*, 29.04.1922).

«Прощай

На литературном и художественном Монпарнасе на днях произошло трогательное событие. И грустное и радостное.

Я говорю об отъезде Марк-Мария-Людовика Талова.

Русский поэт, нашедший убежище в Париже, наконец-то может покинуть этот город Искусства и Литературы, где он провел десять лет жизни, полной лишений и бедствий, — лучшие годы своей молодости.

Неоспоримо, Монпарнас теряет в нем характерно монпарнаскую фигуру и последнего представителя богемы...

Поистине в этом мире всему есть предел, и мучительному голоду тоже. Поэтому русский поэт Талов перебрался в Берлин, где уже живет его друг, такой же, как и он полуголодный поэт Парнах.

Пожелаем же нашему славному лирику Талову больше не знать постоянных трансов голода; за свою кротость, как и за свой настоящий талант, он заслуживает лучшей доли.

(*Journal du Peuple*, VI или VII, 1922). Le Pecquenot»

29. И после отъезда М. Т. из Парижа в журналах появлялись его стихи, статьи о нем, рецензии. Так, в журнале «Монпарнас» № 15 от 1.IX.22, в колонке «Силуэты Монпарнаса» помещен портрет М. Т. работы Гальена (впервые опубликован в *La Vie des Lettres*, янв. 1921 г.) и статья главного редактора журнала Поля Юссона:

«Марк-Мария-Людовик Талов.

Мы все его знали. И хотя его нет уже на Монпарнасе, мы узнаем этот силуэт голодающего поэта. Поэт жесткий. Как и Вийон, он живописал муки голода и желаний. Но у Талова это выглядит более приземленно, менее духовно, хотя он и вызывает в своих стихах к Богу. В поэзии Талова есть жесткая откровенность, но все же он откровенен не до конца. Чувствуется,

что перед ним неотступно стоят великие образцы — Вийона и Верлена. Между тем мы предпочли бы видеть в его поэзии его самого — с его наивностью, с его лукавством.

Между тем Талов из тех иностранных поэтов, которые оставили свой след на Монпарнасе, о которых мы любим вспоминать. На наших страницах было опубликовано несколько переводов из его книги «Любовь и голод», в которых есть пронзительные сильные места.

Постоянные посетители первого «Хамелеона» часто слушали, как он вдохновенно читал свои лучшие стихи. Мы помним, как на вечере, посвященном русской поэзии, он пылко прочел «Скифов» умершего незадолго до этого Александра Блока.

Талов, несколько месяцев назад уехавший в Берлин, грустит по Парижу и Монпарнасу.

Р. Н.»

4 июня 1922 г. М. Т. пишет друзьям в Париж: «...Как это ни странно, в Париж меня еще тянет, но я не поддамся искушению ни за что. Останусь здесь и, если тронусь с места, то только для России, для моей возлюбленной России. Дорогая Россия с ее гиблыми тайгами, хмурыми полями. Туда, туда!...»

11 марта 1969 г., незадолго до смерти, М. Т. запишет в дневнике:

«Чувство «бездомья» не покидает эмигранта вплоть до той поры, когда он наконец возвращается на родину. Тогда появляется какое-то новое, дотоле неведомое, парадоксальное чувство — он начинает воспринимать чужую страну, в которой он по необходимости провел десяток-другой лет, как свою вторую родину».

30. Путь на родину лежал через Берлин. Один из способов выехать из Парижа в Берлин А. М. Ремизов подсказывал в своем письме из Берлина (сохранены орфография и синтаксис подлинника):

«Марк-Людовик Талов

За стихи ваши «Любовь и голод» спасибо. О визе в Германию надо попробовать так сделать: напишите заявление в дом искусств в Берлин и пошлите на имя секретаря Herrn dr. Kaplun Ansbacher st. 20–21 Gartenhaus berlin W50 и объясните, что вы Марк Людовик Талов автор «Любови и голода» едете в Россию и проездом хотите в Берлине побыть.

Алексей Ремизов

24.02.1922».

Из письма, полученного от А. М. Ремизова вскоре после приезда М. Т. в Берлин:

«Ludowik Mark Talow письмо ваше меня обрадовало давно уж думал, еще в России, о «Святой Германии» спрашивал, и не нашел человека, кто б указал эти камушки по трудным дорогам. И думаю, что Вы мне поможете [...] Приходите в воскресенье к 8-ми (если можно). Ехать по унтергрунду до Wilhelmplatz, а потом повернуть налево по [*неразборчиво*] к церкви на Kirchstr...» (далее приведена схема маршрута, выполненная Ремизовым). «...Если вам неудобно в воскресенье позвоните мне если час не подходит и можете позже — час. в 10 вечер., позвоните из ближайшего от нас кабака Weinstube, я отопру вам и впущу.

Alexei Remisow Kirchst 2II bei Delion

Charlottenburg 1 Wilhelm 25–31.»

С. Шаршун вспоминал, что М. Т. познакомил его с А. М. Ремизовым. Сохранилась записка:

«Дорогой Марк Владимирович! 9.VI. 1922

Не сердитесь на меня: я должен был уйти и никак не мог вас предупредить: письмо ваше получено вечером вчера. Прошу Вас и С. Шершуна в воскресенье в бть.

Стихи ваши получил, спасибо      Алексей Ремизов»

Познакомившись у А. М. Ремизова с А. Белым, М. Т. передал ему стихи для публикации в литературном ежемесячнике «Эпопея», который А. Белый издавал в Берлине. Когда же М. Т. пришел к нему, Белый его не узнал. Конечно, это задело поэта, но Ремизов ему объяснил, что Белый очень близорук. Алексей Михайлович написал по этому поводу записку Андрею Белому. Однако для М. Т. самым важным в этот период был отъезд на родину. К Белому он больше не пошел.

А. М. Ремизов — Андрею Белому:

«Дорогой Борис Николаевич!

Позвольте Вам представить Марка Владимировича Талова. Он был Mönch'ом францисканским, но пал и теперь в нашем грешном мире. Обратите внимание на его стихи. Он вам их дал.

11.VI.1922

Алексей Ремизов»

день Феодосии.

М.Т. вспоминал, что проводил у Ремизова почти каждый вечер. Это подтверждают и даты дарственных надписей на книгах Ремизова.

31. Подлинник письма М. Т. к Максиму Горькому хранится в Институте мировой литературы им. А. М. Горького. Письмо, видимо, было написано у А. М. Ремизова, т. к. обращение и первая строчка письма выполнены тушью, характерной «вязью» Ремизова. При этом Ремизов обращается к Горькому «Алексей Михайлович...» вместо Алексей Максимович, т. е. называет его своим именем. Ответ Горького не содержит однако никаких замечаний по этому поводу. В письме М. Горькому М. Т. писал, что знает о голоде в России, но голода не боится, привык к нему, хочет работать для новой России.
32. Члены товарищества собирались в здании филармонии, устраивали литературные чтения. М. Т., который вырос на Молдаванке, отнюдь не восхищали ее грубые нравы. Напротив, имея за спиной лишь три класса городского училища, он стремился к высотам мировой культуры, к духовному началу, был убежденным пацифистом. Поэтому он не смог понять и тем более принять «Одесские рассказы» Бабеля. Однажды после чтения он жестоко высмеял Бабеля, чего тот ему не простил. В результате Бабель и Багрицкий объявили М. Т. белогвардейцем, его перестали печатать и, что очень существенно для того времени, отобрали пропуск в столовую.
33. Из письма М. Т. к К. Г. Паустовскому от 5 мая 1959 г. (отрывки из письма опубликованы в газете «Вечерняя Одесса» 30.01.1988 г.):

«[...] Во вступительной статье к собранию сочинений Куприна Вы вызвали из мрака прошлого одно, очень близкое мне лицо, образ «репортера Ловенгардта — седобородого нищего старика с большими детскими глазами». Покойного Антона Сигизмундовича я знал с февраля 1909 г. Мы оба работали в редакции «Одесского курьера». Это был человек неслыханной доброты. В ту пору ему ничего не стоило скинуть с себя новое пальто и подарить его первому попавшемуся в порту босяку. Он был человеком «не от мира сего». Так, осенью 1909 года он был приглашен на работу во Владикавказ в газету «Терек». Там он подружился с неким Костриковым. А в 20-х

годах, приехав в Москву, с удивлением говорил мне: «Оказывается, Костриков, мой старый друг, это товарищ Киров! Я только теперь узнал!» Как с неба свалился.

Ваш рассказ относится к 1921 году. А. С. не был тогда таким одиноким стариком, как Вы утверждаете. Он был женат, в своей жене души не чаял. Мы жили на Военном спуске — он, две его сестры, Лидия и Эрна, а потом и я. Одиноким Вы его называете и в рассказе «Приморские встречи». Но тут его одиночество Вы относите к дореволюционной поре. [...] До революции кроме двух его сестер были живы и его родители. Все свое время А. С. проводил тогда в обществе невесты, был бодр и весел. Какое тут одиночество!

Из Вашего рассказа неясно, когда же он умер. Вы пишете: «За гробом шли репортеры. Они рассказывали друг другу последние политические анекдоты». Можно предполагать, что это было мирное время. Иначе, какие репортеры? Какие политические анекдоты? Мне известно, что Антон Сигизмундович умер в Одессе во время войны, в 1942 г. Вы подчеркиваете, что Ловенгардт был репортером. Но он был еще и литератором. Еще до революции вышла книга его рассказов, по поводу которой у него завязалась переписка с В. Г. Короленко. В 1926 г. в Москве вышла его книжка «У эшафота» [...]

Передо мною Ваша книга и хочется от всей души поблагодарить Вас за то, что Вы воскресили в моей памяти его образ, его «ясный лазоревый взор». К письму М. Т. была приложена фотография А. С. Ловенгардта.

34. Редакции газет находились в многоэтажном здании бывшего Воспитательного дома на Солянке. Здесь же были центральные комитеты большинства профсоюзов, издававших эти газеты. Редакция и профсоюзы располагались в бывших классных комнатах и спальнях, которые выходили в широкие коридоры, образовавшие квадрат. Здание это называлось тогда «Дворец труда» и было блистательно описано И. Ильфом и Е. Петровым в «Двенадцати стульях».

М. Т. предпочитал работать выпускающим. Работа по ночам позволяла не посещать собрания, митинги, политучебу. Дневное время он посвящал самообразованию — изучал языки, много читал, переводил.

35. Все стихи и поэмы, вошедшие в издание Stéphane Mallarmé. *Poésies. Edition complète.* NRF, Paris. 1913. Книга была подготовлена к изданию дочерью поэта. Все черновики и неоконченные рукописи, согласно завещанию поэта, были незамедлительно уничтожены.

Малларме оказал огромное влияние на поколение Серебряного века, однако до М. Т. была переведена на русский лишь небольшая часть его литературного наследства.

- Через 60 лет после завершения М. Т. работы над переводами С. Малларме, через 5 лет после первого издания этого труда, вышел в свет сборник, включающий помимо стихотворений также прозу поэта, анализ его творчества, письма, обширные комментарии (С. Малларме. Сочинения в стихах и прозе. Сборник. Составитель Р. Дубровкин. М., А/О изд. «Радуга», 1995). В комментариях к этой солидной работе признается уникальность труда М. Т. (с. 484): «Традиция переводов Малларме в России до сих пор не очень богата, а главное носит избирательный характер: начиная с символистов и кончая нашими современниками, поэты-переводчики по большей части сосредоточивают свои усилия на немногих хрестоматийных (как правило сравнительно несложных для понимания) вещах, не стремясь представить полную картину творчества Малларме. Единственное исключение составляет Марк Талов (1892–1969), которому принадлежит единственный по сей день полный перевод канонического собрания стихов Малларме».
36. В разное время М. Т. переводил Шарля Орлеанского, П. Ронсара, Т. де Вио, К. Маро, А. Франса, Сент-Амана, П. Верлена, Т. Корбьера, Буало, В. Гюго, А. Тассони, Дж. Марино, Дж. Кардуччи, Кальдерона, Ф. де Эрреру, Х. де Эспронседу, Ф. Марвелла, Т. Чаттертона, Шелли, Байрона, Китса, Л. Камозенса и др. Его переводы вошли в хрестоматии и антологии, продолжают переиздаваться по сей день.

Однако незадолго до кончины он пришел к выводу, что «перевод поэзии — это стихотворное плутовство. Рифма увлекает в сторону, об этом меня и Сологуб предупреждал. Я признаю теперь только переводы нерифмованные, как это делают французы...».

37. Лишь через много лет узнал М. Т. о судьбе своих друзей: расстреляны Антонов-Овсеенко и Тициан Табидзе, застрелился

и этим избежал неминуемого ареста Паоло Яшвили, замучен в лагере Осип Мандельштам, во время оккупации Франции от рук фашистов погиб Макс Жакоб. Долгие годы проработал в забоях Колымы Игорь Поступальский, а в угольных шахтах Воркуты — Кирилл Зданевич.

Игорь Поступальский рассказывал, что ему непереносимо было во время тяжелой работы видеть стоящего рядом без дела охранника: «Поэтому я шел в самые темные дальние забои — «вохра» туда не полезет. Однажды слышу кричат мне сверху: «Поступальский! Ты говорил, что знал Мандельштама? Он умер.»

Художник Кирилл Зданевич и его брат Илья «открыли» творчество Пиросманишвили. М. Т. познакомился с ними еще в Париже, а в 1965 г. встретил Кирилла Зданевича в Москве. По странному совпадению, которых немало в биографии М. Т., оказалось, что они живут в соседних домах. В последние годы жизни Кирилл Зданевич был ближайшим другом М. Т. Рассказывать о годах, проведенных в лагерях, К. Зданевич не любил: «Вы все равно не поймете. Это только мое грузинское здоровье. Сидит рядом, ест какой-нибудь интеллигент вроде Вас. Вдруг падает. И все...».

38. В этот период И. Н. Розанов (литературовед, занимавшийся преимущественно историей русской поэзии) дарит М. Т. свою книгу «Вирши, силлабическая поэзия XVII–XVIII веков» с надписью: «Марку Владимировичу Талову в память о нашем давнишнем знакомстве и в знак общего интереса к силлабике. До этих пор не встречал поэта, так тонко понимающего очарование силлабического стиха, как Вы, Марк Владимирович.

11 мая 1936 г.»

Урывками, лишь когда не мог не высказаться, М. Т. продолжал писать стихи, хотя уже не надеялся их опубликовать. Случались, однако, долгие периоды, когда вовсе не мог писать. Юрий Никандрович Верховский, поэт-символист, друг А. Блока, советовал ему сесть, в такие дни к столу и писать: «Мне сегодня что-то не пишется, мне сегодня что-то не пишется...» М. Т. этому совету не следовал, а когда становилось очень тяжело на душе, шел в храм Св. Людовика. Это помогало.

Юрий Верховский помог М.Т. справиться с постигшим его горем — смертью Эрнестины Сигизмундовны, помог выйти из подавленного состояния. В этот период он написал М.Т. несколько стихотворных посланий, часто навещал его.

39. Из письма Николая Асеева в ССП:

«Мне совершенно непонятны мотивы, по которым кандидатура М. В. Талова в члены ССП подвергается столь продолжительной дискуссии и многократной проверке. Его бесспорная литературная деятельность в качестве переводчика старых французских, итальянских и испанских поэтов может вызвать только глубочайшее уважение и благодарность читателя, интересующегося историей поэзии и лишенного возможности пользоваться подлинниками. По своим качествам работа эта стоит выше многих известных переводов. [...] Все, за что он берется, сделано с вдохновением, — это не ремесленный труд, а любовь и уважение к создаваемому. [...] Свидетельства лиц, более моего сведущих в старой романской литературе, какими являются тот же Б. В. Томашевский или Илья Эренбург, говорят о том же. [...]

1943 14 июня.

Николай Асеев».

40. Из письма М. Т. Георгию Евангулову от 16 ноября 1964 г.: «...У меня хранится [Ваша] книга «Белый Духан», изданная в 1921 году в Париже. В теплой надписи Вы пожелали мне, чтобы Любовь пожрала Голод... Однако Вашему доброму пожеланию не суждено было сбыться, а случилось совсем иное — Голод пожрал Любовь. Вернувшись в Советский Союз, я женился на любимой девушке. Моя жена умерла 10 января 1944-го года от последствий голода. Это были суровые военные годы!..».

41. Торговцы, частники, а также люди «свободных профессий» — литераторы, художники и т. д. должны были ежегодно подавать декларации о доходах. Не подавшие декларации подвергались штрафам. Об этом у Маяковского в стихотворении «Разговор с фининспектором о поэзии», написанном в 1926 г.

42. Кизеветтер А. А. (1866–1933) — русский историк, общественный деятель. В 1922 г. выслан за границу в числе других деятелей культуры.

Ужас библиографа понятен. Надо было обладать мужеством, чтобы цитировать «эмигрантское» издание да еще и проносить вслух имя известного эмигранта.

В Гослитиздате долгое время работала корректор Сутина. Однажды М. Т. сказал ей, что в Париже у него был друг, художник Сутин. Женщина очень испугалась: «Это мой брат. Только ради Бога, никому об этом не говорите!»

О том, что в квартире Вишняков жил Троцкий, М. Т. рассказал жене под строжайшим секретом, накрывшись с головой одеялом.

Так велик был страх.

43. М. Т. передал рукопись своего сборника в издательство «Советский писатель» в 1964 г. Однако при его жизни книга так и не вышла. Издавать не отказывались, рукопись не возвращали, но составляли договор и теряли его; один рецензент требовал стихи о Ленине, другой — о классовой борьбе французского пролетариата, третий — стихи о войне; возмущались стихами «о Деве Марии и тому подобных мифических персонажах», предлагали заменить, как им казалось, непонятные слова, говорили: «Теперь так не пишут».

М. Т. возражал: «У вас уже есть сто одинаковых поэтов, зачем же вам сто первый?!»

Желая помочь изданию книги, Арсений Тарковский написал письмо: «Марку Владимировичу Талову, с тем, чтобы он передал это письмо любому издательству или лицу по своему усмотрению»:

«Уважаемый Марк Владимирович!

Я с пристальным вниманием прочитал Ваш сборник и рецензии, приложенные к нему.

Я убежден, что Ваши стихотворения представляют собой материал для интереснейшей книги, нужной читателю. Она обогатила бы его, потому что книга замечательна и с познавательной, и с художественной стороны. Прочитал я и рецензии на книгу — и не могу с ними согласиться. Рецензенты подчинились моде, пристрастной к словесным вспышкам, производящим краткое, хоть и сильное впечатление, но исчезающим из памяти так же быстро, как они и проникли в нее.

Ваша поэзия не в «метафорическом наряде». Стихотворения написаны не лестничкой. У Вас зарифмовано все, как теперь «не в моде», не только корни слов.

Вы — вне моды. Рецензенты прямо об этом не говорят, но этот ваш «грех» имеют в виду.

Как и у всех поэтов, у Вас есть стихотворения лучшие и худшие. Достоинство лучших в том, что они производят впечатление видимости того, о чем Вы говорите, в повышенной осязаемости поведенного. Читатель их — не второе или третье, а как бы первое лицо, он сливается с автором и кожей чувствует вместе с Вами — сочувствует.

Лучшие Ваши стихотворения лишены украшений, вплотную прилегают к теме, к переживанию, они более чем правдоподобны, они — истинны. Это произведения яркого подлинного и самобытного таланта. Особенно таковы стихотворения, посвященные темам Вашего парижского житья. Эти стихотворения так сильны, что заражают своим свечением другие, написанные по-иному. Так получается книга — книга как единый организм, — тем более интересная, что она ярка и своеобразна не только по «содержанию», но и по виртуозной «форме», которую рецензенты не заметили, потому что она целиком служебна и лишена привычных арабесок современной эстрадной поэзии. Она у Вас очень тонка и сильна своей необходимой, подвластной всем поворотам темы, жизненностью.

Быть может, в том виде, как Вы представили ее издательству, книга могла показаться ему пестрой, «несобранной». Но тогда вместо того, чтобы предложить Вам сочувственно настроенного по отношению к Вам редактора-составителя, они просто оттолкнули Вашу книгу.

Ваши переводы так органично входят в сборник, что их, конечно, изымать из него не следует. Верно, дело в том, что переводы не из того ведомства, где оригинальные стихи (две редакции: переводной и оригинальной поэзии). Но для многих поэтов перевод — оригинальное стихотворение: например, «На севере диком» или «Горные вершины» Лермонтова.

Без лучших Ваших стихотворений читателю не обойтись, они принадлежат к особому роду русской поэзии (без украшений!), особенно трудному и, быть может, наиболее живучему. В этом смысле Ваши стихотворения заслуживают всяческого внимания.

Читатель без Вашей книги должен чувствовать себя лишенным чего-то очень ему потребного. Странно и стыдно видеть

Ваши лучшие стихотворения неизданными. Они могли бы научить и многих молодых поэтов тому, чего они попросту не знают, т. к. эти произведения поэзии — вне их измерений. Они расширили бы не один мир, не одному «личному» миру читателя и поэта придали бы новые черты. Они нужны именно в напечатанном виде.

Декабрь 1965.

Искренно уважающий Вас

А. Тарковский»

Но и это письмо не помогло, как не помогли и ходатайства М. Лисянского и П. Антокольского. Несмотря на просьбы автора вернуть рукопись, она оставалась в издательстве — «над ней работали».

44. Из выступления Арс. Тарковского: «Содержание, форма и мысль у Талова соответствуют друг другу. Это натурализм, доходящий до галлюцинаций. Это визионерский реализм, это путь, который русская поэзия совершенно забыла. Поэзия Марка Талова совершенно самостоятельна».
45. Не следует думать, что образы в этом стихотворении заимствованы у А. Блока, поскольку «Скифы» и «Двенадцать» написаны в 1918 г., т. е. на три года позже.
46. Впервые — в кн. «Любовь и голод», П. 1920.
47. Впервые — в кн. «Любовь и голод», П. 1920. В феврале 1920-го в авторском переводе в *Le Monde Nouveau*.
48. В июне 1921-го опубликовано в переводе в *Le Monde Nouveau*.
49. В книгу, вышедшую в Париже, не вошло. Включено в рукописный том «Любовь и голод». Под названием «Зачинщикам» впервые опубликовано в газете «Буревестник» № 1, Петроград, 4 ноября 1917 г., затем в «Известиях одесского губисполкома» № 840, 1922 г.
50. В книгу, вышедшую в Париже, не вошло. Включено в рукописный том «Любовь и голод».
51. Впервые опубликовано в газете «Вечерние Известия». М., 1923 г.
52. Цикл: «Свобода» (опубл. в кн. «Избранные стихотворения», М., МИК, 1995, далее «ИС»); «Равенство», «Братство» — публикуются в настоящем издании.
53. Впервые — в «ИС».

54. Весь цикл опубликован впервые в «ИС».
55. Впервые — в альманахе «День поэзии». М., 1964.
56. На допросах следователи требовали от «врагов народа» назвать не менее двадцати сообщников. Рассказывали, что Тициан Табидзе двадцатым назвал имя грузинского полководца Георгия Саакадзе (1580–1629).
- С Тицианом Табидзе М. Т. познакомился у Паоло Яшвили, на его московской квартире.
57. Впервые опубл. в «ИС». Известный стиховед А. П. Квятковский утверждал, что, переложив на русский язык это стихотворение Г. Табидзе, М. Т. создал, сам того не заметив, стихотворный размер, до того не встречавшийся в русском стихосложении.

## ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Большая часть воспоминаний поэта Марка Талова (1892–1969) публикуется впервые.

Детство и отрочество на окраине Одессы, первые поэтические опыты. Без малого девять лет в самом центре нарождающегося нового искусства — в парижской богеме 1913–1922 годов, на «блистательном» Монпарнасе. Нищета, голод, бездомье и интенсивная внутренняя жизнь — религиозные и философские искания, обретение своего поэтического голоса. Пришедшая к поэту известность в русской и французской литературно-художественной среде. Но тоска по родине, не оставлявшая его с самого первого дня на чужбине, разлука с невестой доводили до отчаяния. На гребне известности — возвращение на родину, где поэт надеется обрести широкую аудиторию, участвовать в строительстве новой России. Затем 47 лет трудной жизни, «мытарств», как напишет он впоследствии, в Советском Союзе. Свободы и справедливости, о которых он мечтал, не было ни в царской России, ни в республиканской Франции, ни тем более в СССР. Но очень скоро Талов понял, что здесь вообще нет места для поэзии.

Книгу воспоминаний М. Талов задумал вскоре после возвращения на родину, начал ее писать в 1926 г. Некоторые наброски были сделаны еще в Париже. Он написал первые главы этой книги: юность, история бегства из России, Ротонда и ее завсегдатаи, «Улей»... Однако вскоре он понял, что эта книга никогда не будет опубликована, и работа над воспоминаниями прервалась.

При подготовке текста нами использованы следующие источники:

- Рукопись упомянутой книги воспоминаний. Публикуется со значительными сокращениями.
- Выдержки из дневников, которые Талов вел с перерывами, однако достаточно регулярно.
- Рукопись «Солдат революции» — воспоминания об В. А. Антонове-Овсеенко, написанные в 1965 году по просьбе его сына (с сокращениями опубликованы в журнале «Дружба народов», 1966 г., № 11).

- Рукопись воспоминаний о Модильяни и Жанне Эбютерн, которая не публиковалась. Отдельные фрагменты ее использованы В. Я. Виленкиным в монографии «Амедео Модильяни», впервые изданной в Москве в 1970 году.
- Рукопись «Памяти друга» — воспоминания об И. Г. Эренбурге, написанные по просьбе его семьи (не публиковались).
- Устные рассказы М. В. Талова, отдельные заметки в рабочих тетрадях вынесены нами в Примечания.

Самое главное в его литературном наследии — это, конечно, его стихи. Большая часть включенных в эту книгу стихов публикуется впервые. Источник настоящей публикации — восемь рукописных переплетных книг. Над ними Талов трудился с 1947 года до конца жизни. Он переработал, набело переписал все свои стихи.

Первый рукописный том поэт назвал «Первенцы» — 93 стихотворения и проза 1908–1913 г.г. Из предисловия автора: «Стихотворения, за исключением двух-трех, были напечатаны в разных газетах и журналах. Некоторые из них, кроме того, вошли в книгу стихов «Чаша вечерняя», изданную в Одессе в 1912 году. Все это, понятно, слабые опыты, подражательные строки, мутное зеркало... Перечитав вновь эту книгу, считаю, что она не подлежит опубликованию... 26 октября 1947 года».

Второй рукописный том — «Постижения» — 71 стихотворение, 1913–1915 гг., Париж. Из предисловия: «Она заметно отличается от первой, фиксирующей лишь оторванные от жизни настроения. Здесь лирической основой являются искания истины, постижение круга идей, во многом ошибочных, однако владевших мною слишком долго. Многое — отражение жизненных явлений без их осмысления... 3.05.1967».

Третий рукописный том — «Двойное бытие» — 47 стихотворений, 1916 год. Эпиграф:

О, вещая душа моя!  
О, сердце, полное тревоги!  
О, как ты бьешься на пороге  
Как бы двойного бытия!..

*Ф. И. Тютчев.*

Это вторая редакция книги, изданной в Париже в 1922 г. Из предисловия: «В неясных прозрениях и намеках, рассыпанных по страницам этой книги, — отражение мучительных исканий, которые можно принять за навязчивые идеи. Многое сознательно недосказано. Я не дерзнул заговорить во весь голос. И все же, ввиду сугубой автобиографичности, подлинности чувств и дум, эти стихи и поныне не потеряли для меня своего глубокого значения... 7 января 1948 года».

«Любовь и голод» — четвертый рукописный том, 1917–1919 годы, значительно исправленный и дополненный вариант книги, вышедшей в Париже в 1920 году, 78 стихотворений. Эпиграфы:

Die Leuten das Getriebe\*  
Durch Hunger und durch Liebe

*Ф. Шиллер.*

Nécessité fait gens mesprendre\*\*  
Et faim saillir le loup du bois

*Франсуа Вийон.*

Из предисловия: «Когда через тридцать лет я стал вновь перечитывать мои стихотворения, написанные в 1917–1919 годах, удивление мое было велико: неожиданно для себя я нашел в них новый, скрытый дотоле смысл. Каждое стихотворение, взятое в отдельности, было попросту «лирическим моментом». Собранные в одно целое, став на свое место, все они внезапно ярко осветили целую полосу моей жизни. Я понял, что единственно правильным должно быть распределение материала в строго хронологическом порядке. Я дополнил эту книгу всеми не напечатанными стихотворениями, написанными в 1917–1919 годах, и исключил те, что написаны в 1913–1915. Они нашли свое место в книге «Двойное бытие»... 30 сентября 1948 года».

«Камера причуд» — пятый рукописный том, 1920–1922 годы, Париж–Берлин, 35 стихотворений. Из предисловия: «Это летопись моих мук, духовных и физических, исповедь заблудшей души.

---

\* «Людьми движет голод и любовь» (нем.).

\*\* «Нужда толкает людей на проступки, и гонит голод волка из леса» (фр.).

Это — проклятия черному, паучьему миру капитала. Это — внезапные вспышки, озаряющие дорогу к раскрепощению духа.

«Под бритвой жизни и смерти» — шестой рукописный том, на темы 1920–1921 годов, Москва, 1949 год, 30 стихотворений. Эпиграф:

Блажен, кто молча был поэт  
И, терном славы не увитый,  
Презренной черню забытый,  
Без имени покинул свет!

*А. С. Пушкин.*

Из предисловия: «Это завершение замыслов, занимавших меня в Париже. Первоначально были задуманы две поэмы — «Духовная» и «Под бритвой». Но затем они распались на отдельные стихотворения, связанные между собой лишь отчасти. Из двух дат, обозначенных под некоторыми произведениями, главное значение я придаю первой, относящейся к моменту переживания давних событий жизни во всей их остроте... 12 апреля 1968 года».

«Омут будней» — седьмой рукописный том, 1924–1939 годы, Москва, 32 стихотворения. Эпиграф:

Как сердцу высказать себя?  
Другому как понять тебя?

*Ф. Тютчев.*

«На-духу» — рукописная тетрадь, 1942–1968 годы, 30 стихотворений. Работа незавершена. Эпиграф:

Воистину, я был поэт,  
Но для себя, не для народа.

*А. С. Пушкин.*

Большую часть литературного наследия М. В. Талова составляют поэтические переводы. Они широко публиковались в хрестоматиях, антологиях, сборниках, многократно перепечатаны. Однако большинство переводов не издано. Талов составил план двух сборников своих переводов: «Европейская муза (Франция, Англия,

Италия, Испания, Португалия, Румыния, Германия, Болгария, Чехия, Украина, Белоруссия, Армения, Грузия) в переводах Марка Талова» и второй сборник: «Стефан Малларме. Собрание стихотворений в переложении Марка Талова». Для этих сборников он отобрал произведения семидесяти четырех поэтов XIV–XX веков, всего 372 стихотворения и поэмы, из которых при жизни было опубликовано меньше половины. За исключением двух, все переводы, включенные в настоящую книгу, публикуются впервые.

Нами впервые публикуются портреты и рисунки художников «Парижской школы» Макса Жакоба, Жанны Эбютерн, Сельсо Лагара, Пьера-Антуана Гальена, Нины Амнетт. Впервые публикуются также письма Талову от К. Бальмонта, А. Ремизова, И. Эренбурга, Н. Минского, Рене Гиля, Макса Жакоба, Жака Маритена, Анри Раменя, записки М. Горького, Дм. Мережковского, Поля Фора, Жана Кассу... Переводы фрагментов рецензий и статей из французских журналов и газет. Дарственные надписи на книгах, подаренных М. Талову К. Бальмонтом, А. Ремизовым, А. Гингером, Г. Евангуловым, С. Шаршуном, Б. Сандрамом А. Бретоном, Ж. Шюзвилем, О. Мандельштамом, А. Ахматовой и др.

Полный текст открытого письма Арсения Тарковского публикуется нами не только потому, что в нем дается анализ поэзии М. Талова, но и для того, чтобы обратить внимание читателя на критерии, которыми руководствуется большой поэт.

Составители выражают искреннюю признательность профессору Ренэ Герра за проявленный им глубокий интерес к личности и творчеству М. В. Талова, за ценные советы и деятельное участие в подготовке этой книги к печати.

## ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ\*

- Алданов М.А. 52,  
Алексинский Г.А. 20  
Амнетт (Хамнет) Н. 48  
Ангарский Н.С. 20, 39  
Андреева (Бальмонт) Е.А. 26  
Анри, граф Парижский 28  
Антокольский П.Г. 231  
Антонов-Овсенок В.А.  
    (товарищ Антон) 20, 24, 41–46,  
    63, 66–69, 226  
Антуан, гарсон в «Ротонде», 22, 86  
Аполлинер Г. 23, 50, 85, 210, 212  
Арагон Л. 50, 82, 214  
Архипенко А.П. 23, 82, 206  
Асеев Н.Н. 78, 79, 228  
Астров С. 16, 20, 205  
Ахматова А.А. 23, 65, 71, 81  
Бабель И.Э. 79, 224  
Багрицкий Э.Г. 79, 224  
Байрон Дж. 199, 226  
Балтрушайтис Ю.К. 26  
Бальмонт К.Д. 12, 21, 26, 27, 44,  
    59–61, 206, 216  
Баратынский Е.А. 72  
Бартю 218  
Бах И.-С. 105  
Беленький Г.Я. 42, 66  
Беллини В. 12  
Белова А.П. 58  
Белый А. 51, 62, 63, 223  
Бернар Э. 55, 215, 216  
дом Бесс, аббат 28, 29  
ван Бетховен Л. 48  
Биншток Ж. 26  
Блок А. 43, 60, 216, 218, 222, 227,  
    231  
Бодлер Ш. 54, 218  
Божнев Б.Б. 60, 220  
Боттичелли С. 55  
Браиловский (Бравский) А.Я. 20,  
    33, 34, 207  
Брик О.М. 65  
Бруни-Бальмонт Н.К. 26, 82, 206,  
    216  
Брюсов В.Я. 65, 69, 208, 209, 217  
Буаер И. 213  
Буало Н. 226  
Буданцев С.Ф. 61  
Булгаков М.А. 81  
Булгакова-Земскова Н.А. 81  
Бунин И.А. 75  
Бурдель Э. 23, 30  
Бурлюк Д.Д. 12  
Бурцев В.Л. 33  
Бухарин Н.И. 82  
Бухарина А.М. 82  
Бушар 218  
Буэлей С.-Ж. 213  
де Бэрвик Г., барон 28  
Вазари, футурист 62  
Валери П. 52  
де Вальхерн П. 90, 208  
Ван Гог В. 49  
Верлен П. 207, 218, 222, 226  
Вермель А. 219  
Вертепов П. 24, 30, 33  
Верхарн Э. 44, 218  
Верховский Ю.Н. 153, 227, 228  
Вешнев, критик 20  
Вийон Ф. 212, 221, 222  
Виленкин В.Я. 83, 215  
де Вио Т. 226  
Виттих, скульптор 26  
Вишняк Я.И. 42, 229  
Вламинк М. 23, 39  
Волгин К. 20

---

\* Кроме имен, приведенных в статьях и подписях к иллюстрациям.

- Волошин М.А. 50  
 Вюрмсер А. 206, 207  
 Гайдн Ф. 12  
 Гайяр М. 213  
 Гальен А.-П. 55, 221  
 Гаррисон, американский художник 213  
 Гаске Ж. 51, 52, 212  
 Гастон, гарсон в «Ротонде» 22, 86, 87  
 Герасимов М.П. 20, 44  
 Герен Ш. 23  
 Гий Ж., принц 211  
 Гиль (Жиль) Р. 49, 50, 65, 208, 209  
 Гингер А.С. 60, 214, 219, 220  
 Гиппиус З.Н. 217  
 Глез А. 178  
 Гоголь Н.В. 60  
 Гольдберг, художник 59  
 Горбачев Б., студент Сорбонны 15, 19  
 Горгулов П. 17  
 Городецкий С.М. 65  
 Горький М. (Пешков А.М.) 16, 62–64, 67, 72, 74, 224  
 Грагеров П., студент Сорбонны 38  
 Грановский С. 25  
 Грантов О. 213  
 Гудиашвили Л. 54, 60, 214, 219, 220  
 Гукасов Л. 24, 205  
 Гумилев Н.С. 59, 60, 81  
 де Гурмон Ж. 51  
 де Гурмон Р. 51  
 Гюго В. 68, 226  
 Данте А. 54  
 Даран Д. 55  
 Девинь Р. 218  
 Дилевский В. 32, 73  
 Дирикс Л. 213  
 Дмитриев Е.Н. (псевдоним Теофраст Ренодо) 17, 19  
 Дон-Аминадо (Шполянский А.П.) 60  
 Достоевский Ф.М. 36, 218  
 Дубровкин Р. 226  
 Думер П. 17  
 Дункан А. 62  
 Дюамель Ж. 61  
 Дюплесси М. 207  
 Евангулов Г.В. 60, 65, 219, 228  
 Есенин С.А. 61, 62, 75, 216  
 Жакоб М. 23, 49–51, 54, 55, 57, 61, 85, 86, 110, 150, 178, 209, 211, 227  
 Жанна Д'Арк 38, 94, 150  
 Жантэ, католический священник 37  
 Жданов А.А. 75  
 Жорес Ж. 139  
 де Жуанно Р., отец-иезуит 29  
 Жуков И.Н. 20, 27, 33, 205  
 Завадовский 48  
 Зборовский Л. 53, 54  
 Зданевич И.М. 82, 227  
 Зданевич К.М. 23, 36, 82, 173, 227  
 Зелюк О.Г. 60, 61  
 Зенкевич П.Б. 72  
 Зноско-Боровский Е.А. 60  
 Ивнев Р. 61  
 Игнатъев А.А. 59  
 Издебский В.А. 73  
 Ильина В. 61  
 Ильф И. 225  
 Инбер В.М. 20, 74  
 Инбер Н. 60  
 Инденбаум Л. 21, 206  
 Кайранский (Койранский) А.А. 61  
 Кальдерон Гарсия 213  
 Кальдерон П. 69, 226  
 Каменев Л.Б. 72  
 Камознс (Камойнш) Л. 226  
 Кандинский В.В. 12  
 Кант И. 122  
 Карамзин Н.М. 14  
 Кардуччи Дж. 226  
 Карко Ф. 54, 57  
 Кассу Ж. 50, 60, 61, 208, 214  
 Квятковский А.П. 71, 232  
 Кизеветтер А.А. 79, 228  
 Киров (Костриков) С.М. 224, 225  
 Кислинг М. 23, 25, 53, 57, 85–87, 178  
 Китс Дж. 25, 187, 226  
 Клычков С.А. 71  
 Клюев Н.А. 71

- Коонен А.Г. 206  
 Корбьер Т. 226  
 Короленко В.Г. 225  
 Корсунская А.И. 15  
 Корсунский С.М., друг юности 15, 17  
 Костюковский, художник 37, 38  
 Коханский С.В. 12, 70  
 Крандиевская Н.В. 52  
 Кремьень П. 41, 47, 48, 55, 206  
 Крестовская Л.А. 30, 33  
 Крестовский В. 30, 33  
 Крученных А.Е. 83  
 Кузьмина-Караваева Е.Ю. 65  
 Куприн А.И. 23, 224  
 Курбель 218  
 Куסיнов А.Б. 75  
 Лагар С. 55  
 Ларин Ю.Н. 82  
 Лебон Ф. 217  
 Левинсон А.Я. 219  
 Леметр М. 57  
 Ленин В.И. 20, 24, 42, 69, 79, 229  
 Ленуар Ш. 23  
 Лермонтов М.Ю. 39, 230  
 Лещинская Е.О. 205  
 Лещинский М.М. 20, 26  
 Лещинский О.М. 17, 19, 20, 26  
 Либион Ж. 21–24, 84, 86, 87  
 Лидин В.Г. 82  
 де Лиль Леконт 71  
 Линтон В. 54, 55  
 Лиони М. 217  
 Липшиц Ж. 23, 53, 57  
 Лисянский М.С. 80, 82, 231  
 Ловенгардт А.С. 66, 224, 225  
 Луане Ж. 51  
 Луначарский А.В. 20, 33  
 Лутовинов, служащий консульства в Берлине 64  
 Майоль А. 23  
 Малевич К.С. 23, 82, 178  
 Малларме Ст. 49–51, 54, 68–70, 72, 83, 175, 185, 207, 208, 212, 218, 226  
 Мальбюнсон 24  
 Мамлина Л.Н. 19, 205  
 Мандельштам Н.Я. 70, 71  
 Мандельштам О.Э. 51, 69–72, 216, 227  
 Манн Т. 21  
 Марвелл Ф. 226  
 Маревна (Воробьева-Стебельская М.Б.) 73, 86, 116, 178, 206  
 Мариенгоф А.Б. 65  
 Маринетти Ф. 62  
 Марино Дж. 226  
 Маритен Ж. 23, 49, 51, 211, 212  
 Марке А. 23  
 Маро К. 226  
 Матисс А. 23, 39  
 Маяковский В.В. 228  
 Мейерхольд В.Э. 65  
 Мельмейстер, композитор 15, 19  
 Мендельсон Я. 12  
 Мережковский Д.С. 27, 59, 217  
 Мерсеро А. 212, 213  
 Метерлинк М. 38  
 Мещанинов О.С. 21, 23, 48, 49, 206  
 Минский Н.М. 26, 59, 216, 217  
 Мирбо О. 218  
 Митрофанов А.Г. 79  
 Михаил, великий князь 24  
 Мишель, гарсон в «Ротонде» 22  
 Модильяни А. 23, 39, 47, 53–58, 83, 85–87, 147, 178, 214–216  
 Модильяни Ж. 55, 57, 216,  
 Мореас Ж. 207, 212  
 Мусоргский М.П. 71  
 Мюзелли В. 213  
 Мюссе А. 38  
 Нарбут В.И. 72  
 Некрасов Н.А. 10  
 Немиров В. 20, 86  
 Ниедре Я.Я. 78  
 Никогосян Н. 55  
 Николай Второй 24  
 Новицкая Е.Л. 66, 67  
 Новицкий К.П. 66  
 Орлова Х. 213

- Островой С.Г. 82  
 Оцуп Н.А. 20, 205  
 Парнах В.Я. 53, 60–65, 70, 219, 220, 221  
 Пастернак Б.Л. 61, 216  
 Паустовский К.Г. 224  
 Пейрабони, почитатели поэзии 52  
 Петрарка Ф. 54  
 Петров Е. 225  
 Пикассо П. 21, 24, 39, 178, 210  
 Пильский П.М. 12  
 Пироманишвили Н. 80, 82, 173, 174, 227  
 Поделков С.А. 80, 82  
 Познер В.С. 60  
 Полисадов В.А. (брат Кирилл) 27–32, 34–38, 168, 169  
 Полисадова К.М. 28, 169  
 Полонская Е.Г. 20, 38  
 Полти Ж. 212  
 Поплавский Б.Ю. 60  
 Поступальский И.С. 69, 72, 80, 227  
 Пржездзецкий В. 20, 205  
 Пуленк Ф. 23  
 Пушкин А.С. 39, 217  
 ПфанстильА. 55  
 Пяст В.А. 51  
 Равель М. 23  
 Райт-Ковалева Р.Я. 216  
 Рамей А. 214  
 Раппопорт Л. 205  
 Раппопорт Ш. 46  
 Распутин Г.Е. 71  
 Рейно Э. 41, 207  
 ван Рейс А. 59  
 ван Рейс О. 55, 59  
 Рейсбрук Я. 212  
 Рембо А. 21, 54, 218  
 Рембрандт Х. ван Рейн 53, 58, 180  
 Ремизов А.М. 51, 62, 63, 75, 222–224  
 де Ренье А. 51  
 Ретиф М. 55  
 Ривера Д. 24, 58, 85  
 Розанов И.Н. 227  
 Розенблум В. 23, 55–57, 86, 117, 215  
 Рокпелнис Ф.Я. 78  
 Ронсар П. 182, 226  
 Росси, скульптор 213  
 Руаер Ж. 212  
 Саакадзе Г. 175, 232  
 Савинков Б.В. 24  
 Сальмон А. 23, 85, 210, 212  
 Сандрар Б. 23, 53, 85  
 де Сарате (Зарате) О. 24, 53, 55, 59  
 Сати Э. 23  
 Свинберн (Суинберн) Ч. 68  
 Свирский 205  
 Северянин И. 13  
 Сезанн П. 55  
 Секондэ Г. 35  
 Сент-Аман Э. 226  
 Симонов К.М. 75, 81  
 Симонт А. 55, 59, 217  
 Синьяк П. 23, 39  
 Сирин Вл. (Набоков В.В.) 218  
 Слоним М.Л. 218  
 Соболев А. 20  
 Соколов-Микитов И.С. 7, 63  
 Соловьев В.С. 28  
 Сологуб Ф.К. 10, 13, 14, 226  
 Сталин И.В. 69, 72  
 Столяры, друзья юности М.Т. 12  
 Струве М.А. 60, 220  
 Суарес 218  
 Судейкин С.Ю. 55, 60, 219  
 Сутин Х. 23, 39, 41, 46–49, 53, 55, 58, 180, 206, 229  
 Сутина, сестра художника Х. Сутина 229  
 Сэ М. 218  
 Табидзе Г.В. 204, 232  
 Табидзе Т.Ю. 51, 80, 175, 226, 232  
 Талова (Ловенгардт) Э.С. 40, 71, 78, 79, 207, 228  
 Талова М.А. 82  
 Тарковский Арс. А. 80, 82, 229, 231  
 Таслицкая, жена поэта Таслицкого 33, 34, 207  
 Таслицкий Б., художник, сын поэта Таслицкого 207

Таслицкий, поэт 20, 33, 34, 207  
Тассони А. 226  
Тиру С. 55, 57, 85  
Толстой А.Н. 52, 65  
Толстой Л.Н. 218  
Томашевский Б.В. 78, 228  
Триоле Э. 62  
Троцкий Л.Д. 24, 42, 229  
Тютчев Ф.И. 39, 102  
Уитмен У. 44  
Фавори, художник 51  
Фадеев А.А. 78  
Фера С. 85  
Фома Аквинский 51  
Фомин, служащий консульства в  
Берлине 64  
Фор П. 23, 52, 212, 213  
Фра-Анжелико 55  
Франс А. 23, 218, 226  
Фужита (Фудзита) Цугухару  
(Леонард) 23, 53  
Фюме А. 56, 215  
Фюме Р. 56  
Фюме С. 56  
Фюме, композитор 56  
Хавкин («Чукча»), секретарь  
В.Л. Бурцева 32, 33  
Хари 23, 213  
Хентова П. 36  
Ходлер Ф. 20  
Цадкин О. 23, 25, 39, 53, 59, 73, 86,  
178, 206  
Цветаева М.И. 61, 62, 73, 75, 82,  
83, 217  
Цветкова Е.К. 26  
Чайков И.М. 21, 36  
Чаттертон Т. 226  
Чернов В.М. 20, 24, 62

Чехов А.П. 74  
Чичканов П. 20  
Шагал М.З. 53, 65  
Шарль (Карл) Седьмой 38  
Шарль Орлеанский 40, 226  
Шарлье, скульптор 32, 35, 36, 142,  
168  
Шаршун С.И. 60, 65, 206, 214, 219,  
223  
Шебуев Н.Г. 13  
Шекспир В. 197  
Шелли П. 226  
Шенгели Г.А. 68  
Шиллер Ф. 235  
Шкапская М.М. 20  
Шлейман 72  
Шмидт Е.О. 25  
Шюзвиль Ж. 217–219  
Щуклин (Шуклин) И.А. 41  
Эбютерн А. 56  
Эбютерн Ж. 53, 55–57  
Элюар П. 206  
д'Энди В. 23, 215  
Эпштейн Я. 206  
де Эредиа Ж. 72  
Эренбург И.Г. 20, 21, 23, 25, 26,  
38–40, 51, 58, 60–63, 65, 72–75,  
77, 78, 80, 82, 83, 205–207, 228  
Эренбург Л.М. 62  
де Эррера Ф. 226  
де Эспронседа Х. 226  
фон Эссен М. 178  
Эфрон А.С. 82  
Эфрос А.М. 71  
Юссон П. 218, 221  
Юшкевич С. 60  
Языков Н.М. 71  
Яшвили П. 26, 51, 175, 227, 232

## КНИГИ ТОГО ЖЕ АВТОРА

Маркъ Таловъ. Чаша вечерняя, «Воспитаніе», Одесса, 1912.

Маркъ-Мария-Людовикъ Таловъ. Любовь и голодъ. Книга лирики.  
Парижъ, «Орфей», 1920.

Маркъ-Людовикъ Таловъ, Двойное бытіе. «Франко-русская  
печать», Парижъ, 1922.

Стефан Малларме. Собрание стихотворений. Переложил М. Талов.  
«Художественная литература», 1990.

Марк Талов. Избранные стихи. «МИК», Москва, 1995.

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Р. Герра. Марк Талов — «Менестрель России» .....</i>	5
---	---

### Воспоминания

Юность на окраине Одессы. Первая книга.	
Встреча с Федором Сологубом. Переход границы.....	10
Приезд в Париж. Неожданная встреча. «Теофраст Ренодо».	
У Оскара Лещинского. Литературно-художественный кружок	17
«Ротонда» и ее завсегдатаи. Ностальгия. Знакомство с Ильей	
Эренбургом. Константин Бальмонт .....	21
Владимир Полисадов. Религиозные искания.....	27
Накануне катастрофы. Вызов в полицию. Война началась.	
Вербовщики.....	30
Два ареста за одну ночь. Допрос в полиции. Есть вид на жительство.	
Голод. Эвакуация.....	34
В деревне Ривьер. Крещение. Конфликт с Полисадовым.	
Шинонский монастырь.....	36
Возвращение в Париж. Товарищеский суд. Сближение и конфликты	
с И. Эренбургом. Поэт — комиссар полиции .....	38
Товарищ Антон. «Наше слово» .....	41
1917-й. Волнения в Париже. Я «застрял» во Франции.....	44
Голодная зима 1918 года. Шахматы. Хаим Сутин.....	46
Перевожу Малларме. Рене Гиль. Макс Жакоб. Жак Маритен. Я	
представлен французским поэтам.....	49
Амедео Мадильяни. Жанна Эбютерн .....	53
«Любовь и голод». «Двойное бытие». «Гатарапак». «Палата поэтов».	
Несостоявшийся русско-французский журнал .....	58
На родину — через Берлин. Алексей Ремизов. Переписка	
с Максимом Горьким .....	62
Дорога на родину. Москва—Одесса—Москва. Я — советский	
служащий .....	64
В. А. Антонов-Овсенко.....	66
Осип Мандельштам .....	69
Попытки издать «своего Малларме». Встречи с Л. Б. Каменевым.	
Все под «богом» ходим .....	72
Илья Эренбург. Начало войны. Встреча с Мариной Цветаевой.	
Осень 1941-го в Москве .....	73
Голод. Помощь друга. Как меня принимали в Союз писателей.	
Попытки опубликовать свои стихи .....	76

<b>Из дневников последних лет.....</b>	<b>81</b>
<b>Скандал в «Ротонде» (зарисовка).....</b>	<b>84</b>
 <b>Стихи</b>	
 <b>Из цикла «Постижения»</b>	
В Париже .....	88
Сон.....	89
Каждый день.....	90
«В эту церковь приходила Жанна...» .....	94
 <b>Из цикла «Двойное бытие»</b>	
«Судьбою брошенная карта...» .....	95
«Есть миг, когда так ясно и светло...».....	96
«О, Господи! Зачем познал я рано...» .....	97
 <b>Из цикла «Любовь и голод»</b>	
Ощущения.....	98
Три года.....	99
Узы родства.....	100
Бессонница .....	101
«Когда, припоминая скуку дня...» .....	102
«Я Вам читал стихи. Чем было позже...» .....	103
«Куришь, о трубка! Вейся, мой дымок!...».....	104
«Пужинал я, слава Богу...» .....	105
Роза-рана .....	106
 <b>Из цикла «Камера причуд»</b>	
Живу где-то около рая .....	107
Валет бубновый.....	108
Взаперти.....	109
Бред .....	110
Центр тяжести .....	111
 <b>Из цикла «Под бритвой жизни и смерти»</b>	
Рефлекс.....	112
Промотанное наследство.....	114
Маревна .....	116
Равенство .....	118
«О, незлобивость сердца или...».....	119

Братство .....	121
Художник сфер .....	122
Светлая тюрьма .....	125
Уравнительница .....	127
На улицу! .....	128
«Опять предчувствие глухое...» .....	130
Под бритвой .....	131
Счастливая находка .....	133
Школа жизни .....	135
<b>Из цикла «Омут будней»</b>	
«Что дал бы я, чтоб очутиться...» .....	136
Жизнь — ожерелье дней .....	137
<i>Джинн выпущен на волю</i>	
Июль 1914 года .....	138
На Северном вокзале .....	140
«Что было тогда? Я пушинкой летел...» .....	141
«Улей» .....	142
«Окопавшийся» .....	144
Бегство из Парижа .....	146
Бомбежка .....	147
Перемирие (Ноябрь 1918 года) .....	148
У входа в Люксембургский сад .....	149
<b>Из цикла «На-духу»</b>	
«Мне мозг туманили энциклики...» .....	150
Февральское утро .....	151
Виденья прошлого .....	152
IN MEMORIAM .....	153
Заморыш .....	156
Искуситель. Поэма .....	157
Щепа, прибитая волною .....	163
Июльская стужа .....	165
Ужин у Владимира Полисадова .....	168
Заздравные стихи .....	171
Ночь на 10 (23) ноября 1913 года .....	172
Нико Пиросмани .....	173
Тициан Табидзе .....	175
Дома .....	176
Мирное лето .....	177
Кутеж .....	178
Рембрандт двадцатого века .....	180

## Переводы

### Из Пьера де Ронсара (1524–1585)

Из цикла «Кассандре» .....	182
На смерть Марии .....	183
«Как только чуточку росы вкусишь ночной...» .....	184

### Из Стефана Малларме (1842–1898)

Лазурь .....	185
--------------	-----

### Из Джона Китса (1795–1821)

Ода праздности .....	187
Ода к меланхолии .....	190
Сонет .....	192
Ода к Психее .....	193
Ко сну .....	196
Сонет, написанный на пустой странице книги стихов Шекспира перед поэмой «Жалоба влюбленной» .....	197
Стансы .....	198

### Из Джона Байрона (1788–1824)

Из «Странствий Чайльд-Гарольда»	
К Иньесе .....	199

### Из Анхела де Сааведра де Риваса (1791–1865)

Мальтийский маяк .....	201
------------------------	-----

### Из Галактиона Табидзе (1892–1959)

Монпарнас .....	204
-----------------	-----

Примечания .....	205
------------------	-----

От составителей .....	233
-----------------------	-----

Именной указатель .....	238
-------------------------	-----

Иллюстрации .....	249
-------------------	-----

Марк Талов

## ВОСПОМИНАНИЯ. СТИХИ. ПЕРЕВОДЫ

Составление и комментарии  
*М.А. Таловой, Т.М. Таловой, А.Д. Чулковой*

Предисловие *Ренэ Герра*

Оформление обложки *Дмитрия Манахина*  
Корректор *Наталья Пузанова*  
Оригинал-макет подготовил *Константин Федоров*

Издательство «МИК»  
Москва, ул. Б. Переяславская, д. 15, кв. 52  
Изд. лиц. № 060412 от 14 января 1997 г.

Издательство «Альбатрос»  
37, Rue du Fort  
92130 ISSY France

Подписано в печать 31.01.2006.  
Формат 60х90/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.  
Усл. печ. л 15,5. Тираж 500 экз. Заказ №

Электронный вывод и печать  
в ППП «Типография “Наука”»  
121099, Москва, Шубинский пер., 6



Амедео Модильяни. Портрет М. Талова  
(с фотографии). Надпись: «Талову Модильяни, XI 1919».



Амедео Модильяни. Портрет М. Талова (с фотографии).  
Надпись в верхнем левом углу рукой М. Талова: «Рисунок  
Модильяни, сделан в «Ротонде» в декабре 1919 г.»



Жанна Эбютерн. Портрет М. Талова, карандаш, 26х42.  
Подпись: «Эбютерн 01 октября 1919 г.».



А.-П. Гальен. Портрет М. Талова, гравюра на дереве, 1921г.  
(Из журнала «La Vie des Lettres»)



Сельсо Лагар. Портрет М. Талова, тушь, 11х17.  
Надпись: «Моему другу Талову, Лагар».



Антонио Симонт. Портрет М. Талова, рисунок пером.  
Надпись: «Марку Талову с любовью – Антонио Симонт – 1919».  
Опубликовано в книге «Любовь и голод», Париж, 1920г.



Морис Ретиф. Портрет М. Талова, масло (с фотографии).



au Poète Marc Taloff

A. P. Gallien

"La Rotonde" Paris 1920

А.-П.Гальен. Марк Талов (шарж).  
Надпись: «Поэту Марку Талову. А.-П. Гальен, «Ротонда»,  
Париж, 1920 г.»



Работа художницы Нины Амнетт «Ротонда», пастель, 23х28.

Je soussigné M. Secoursi Concierge  
à la Roche-aux-Bois

Certifie que Monsieur Marc Coloff  
habite à la Roche aux Boissons Madame Christine  
Coloff le 20 juillet 1914



Fait le 8 août 1914

Secoursi

Справка, выданная М. Талову консьержкой  
«Улья искусств» 08.08.14.



Цветная автолитография «Улей»(44х50)  
художника Якова Шапиро,  
автора книги «La Ruche», Париж, 1960г.

Дарственная надпись:

«Дорогому другу Марку Талову в память о la Ruche,  
Яков Шапиро, Париж, 1966».



Вечеринка у шведского художника Кельгора (первый слева, во втором ряду).  
Сидят справа налево: первый – М. Талов, третий – испанский художник Антонио Симонт, пятый – японский художник Фужита. Приглашены мексиканские музыканты.  
Париж, 14 июня 1919 г.



Жанна Эбютерн. Фоторгафия из книги Ж. Модильяни  
«Модильяни без легенды», Париж, 1961г.



Жанна Эбютерн в карнавальном костюме.  
Фоторафия из книги Ж. Модильяни  
«Модильяни без легенды»  
Париж, 1961г.

МАРЬ-МАРЬ-ЛЮДОВИКЪ ТАЛОВЪ

# ЛЮБОВЬ и ГОЛОДЪ

Книга Лирны



ПАРИЖЪ  
Издательство «ОРФЕЙ»  
1920

Осип Цадкин.  
Титульный лист.

25-II-21.

116<sup>1</sup> Av. Colon. Bonnet.

Трубопроводы

Магнито-индукционные

и будут работать у себя  
механической системы

1. Трубопроводы на буровых скважинах

16.6.6. Состояние скважины

поисковая скважина

свои скважины и скважины

свои скважины и скважины

скважины и скважины

нефтепроводы и скважины

и скважины скважины  
Д. Мережковский

Автограф Д. Мережковского.

1921. 21 апр.  
Париж.

Дорогой поэт,

Спасибо за драгоценный экземпляр Вашей интересной книги. Я буду о ней говорить в той статье, которую готовлю для "Le Nouvel Monde".

Из среды я не буду дома. Скажите сектору Лозано, что я буду сь ударом в четверг к 5 1/2. и буду рад говорить с Вами о Мехиситис и России.

До скорой встречи?

Жму руку, и всего Вам хорошего.

К. Бальмонт.

P.S. Радуюсь, что переводы мои есть.

# CARTE POSTALE

Correspondance

St-Brevin-les-Pins. 1921. 31 апр.

Я сь удовольствием принял участие в издании, о коем Вы пишете. Но Вы не забывайте, какие именно задачи издателя - издать не только поэтику, или какой именно дерзает поэтика, а также на какие условия осуществлена сотрудничество. Сообщите, и я могу тогда послать Вам сие.

Всего наилучшего.

К. Бальмонт.

Adresse

Paris

M. Taloff

J, rue Joseph Bara



Автографы К. Бальмонта.

Марку Владимировичу Планову  
съ губебномъ искренней симпатіи.

К. Д. БАЛЬМОНТЪ.

*К. Д. Балмонтъ.*

1921.

Импр.  
Париж.

# ДАРЪ ЗЕМЛЪ



ПАРИЖЪ.

—  
1921.

**ПАЛАТА ПОЭТОВЪ.**

Въ СРЕДУ 9 НОЯБРЯ

**ВЕЧЕРЪ ВАЛЕНТИНА ПАРНАХА**

1. СТИХИ *Валентина Парнаха*.
2. ПЕРЕДВИЖНОЙ ТЕАТРЪ НА СТОЛАХЪ *Павел Кудлавецъ*.

**«ТЕАТРЪ УЖАСОВЪ».**

Секретическая драма-буффъ по стихотв. *Вал. Парнаха*.

3. ИСПАНСКАЯ ТАНЦОВЩИЦА *СИЛА*.
4. ТАНЦЫ *Валентина Парнаха*.

Начало въ 9 час. 15 мин. вечера.

«Café Caméléon», 146, Boulevard Montparnasse

*Цѣна 2 фр.*

**16 НОЯБРЯ**

**Вечеръ Георгія Евангулова**

**БѢЛЫЙ ДУХАНЪ**

въ ПАЛАТѢ ПОЭТОВЪ

Начало въ 9 часовъ 15 минутъ вечера

146, Bd Montparnasse, «Café Caméléon»

**ПАЛАТА ПОЭТОВЪ**

въ ЧЕТВЕРГЪ 1 ДЕКАБРЯ

**ВЕЧЕРЪ Марка-Людовика Талова**

Отрывки изъ его поэмъ

**«ПОДЪ БРИТВОЙ».**

- 1) Новые танцы на музыку Эрика Сати, Каталонскіе танцы;
- 2) Новые стихотворенія поэты-цы Вемтири и поэтовъ: Ал. Гингера, Георгія Евангулова, Вал. Парнаха, Мих. Струве, М. А. Талова и С. Шаргуни;
- 3) Средневековыя піесы, фламандскія и французскія, Русскія и крѣстьянскія романсы. Русскія музыка. М-ль Софія Годуль, Жданова, Мадриге, Кларина и др.

Начало въ 9 час. 15 мин. вечера.

«CAFE CAMELEON», 146, B-d Montparnasse.

METRO: Vavin et Raspail

NORD-SUD: Notre Dame des Champs.

Билеты на вечера Палаты поэтов.

Марку Тарову,  
соединившему Villon'a и Charlot  
дружески автор

И о Вас напишу строку

Paris. 5-VI-21

Автограф В. Парнаха на книге «Самум»,  
изданной в Париже в 1919 г.

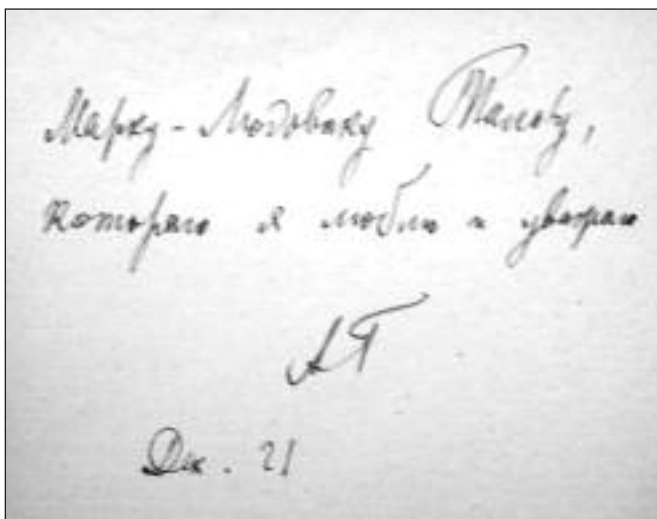
Марку-названнику Тарову,  
полюбу двух сражи - настан Галода  
со пожеланиями, грады - похвал  
на Франк Талсаде

преданным

20 января 1922  
Парнах

Автор

Надпись Г. Евангулова на книге «Белый духан»,  
издание Палаты поэтов, Париж, 1921 г.



Надпись А. Гингера на книге «Свора верных», издание Палаты поэтов, Париж, 1921 г. В книге есть посвящение: «Моим товарищам по Палате поэтов: Георгию Евангулову, Валентину Парнаху, Марку-Людовику Талову, Сергею Шаршуну».



А. Гингер. Надпись на обороте:  
«Марку Владимировичу Талову на добрую память.  
Александр Гингер, 1964 г.».





С.И. Шаршун с женой, художницей Е. Грингофф, Париж.

Надписи на обороте:

«Дорогому другу М.В. Талову С. Шаршун 09.04.22» и

«Вспоминай же о Париже. Е. Грингофф».

Дорогому Марку Мамову,  
монпарнасу, свободному, Палатке  
континенту

СЕРГЕЙ ШАРШУН

4.8.64

# ДОЛГОЛИКОВ

П О Э М А

Из эпопеи  
«Герой интереснее романа»

«Император отдает приказы военачальникам, папа рассылает буллы христианскому миру, а сумасшедший пишет книгу».

(Алонзус Бертран:  
«Гаспар Полуночник»)

П а р и ж

1 9 6 1

mon cher poète.

mon cher poète.

Au cas où tu n'aurais pas reçu un mandat  
de la gabelle mis le 5 janvier, je te prie de  
me le faire savoir afin que je fasse la  
réclamation nécessaire.

Il est inutile d'autre part de me remercier.  
Les cinquante francs ne t'ont coûté pas de moi  
mais du prince Georges Ghika. L'a-t-il ajouté  
que 5<sup>e</sup> francs 80 à sa générosité. Bonne nuit pour  
un millionnaire! Adieu de tout cœur

tes dévoués travaux

Max Jacob  
17 rue galvère  
Paris

Письмо Макса Жакоба М. Талову от 01.04.22 г.

20 Dec. 1911

Cher Monsieur et ami,

Paul Fort

Voici deux places sur mes billets d'auteurs,  
pour jeudi prochain à l'Odéon (8 h 1/2).  
Malheureusement je n'ai pu faire que ces deux  
invitations soient plus proches l'une de l'autre.  
Paris, 34, Rue Gay-Lussac

Excusez-moi. Mais les places sont bruyantes.

Tout à vous

Paul Fort

Автограф Поля Фора.

Au bon poète Taloff  
 à qui ce petit livre piaiera, j'espère,  
 puisque lui & moi nous aimons  
 le même Rustrouk et Villon  
  
 Jacques Maritain

Автограф Жака Маритена.

au poète  
 Marc Marie Ludovic Talor,  
 confraternel hommage,  
 Jean Shuzvily  
  
**LA ROUTE POUDROIE**

Надпись Шюзвиля на книге «Дорога пылит»,  
 Париж, 1910 г.: «Поэту Марку-Мария-Людовику Талову  
 в знак уважения к собрату. Жан Шюзвиль».

16<sup>bis</sup> rue Caurotroy.

Paris, 27 Mars, 1880.

cher Victor,

J'espérais une fois te rencontrer, bien sûr,  
Friedrich: je ne me méritais pas si peu d'amis  
mes frères!

Les fêtes de la grande messe de la messe pour  
notre "Archiduc", nous jette. J'espère que ma  
toute l'amitié de venir de nouveau  
Dimanche, l'après-midi, à partir  
de trois heures, où nous passerons, comme

habituellement, jusqu'à ce soir.

Je vous remettrai ces papiers,  
et vous en parlerai.

Avec moi. Je serai, je  
sais, ce sera bien cordialement.

Rene Guille

Автограф Рене Гиля.

## Albert GLEIZES

*Peinture, Aquarelle, Dessin*  
(non numéroté)

1 bis à 20 bis. Compositions pour  
*La Conquête Miraculeuse*, par  
Alexandre Mercereau, gravées  
sur bois par A. P. Gallien.

## Antoine-Pierre GALLIEN

### PEINTURES

1. Issy-les-Moulineaux.
2. Les arbres brûlés de la mare  
aux fées.
3. La roche qui remue.
4. Les trois pins.
5. Pollu.

6. Bris.
7. Estaminet.
8. Coiffeuse.
9. Portrait.
10. Autoportrait.

### BOIS GRAVÉS

- 21 bis. Coiffeuse.
- 22 bis. Précieuse.
- 23 bis. Vercingétorix.
- 24 bis. Le lapin agile.
- 25 bis. Petit nu.

### PORTRAITS

1. Alexandre Archipenko.
2. Nicolas Beauduin.
3. Carol Bérard.
4. Georges Braque.
5. Olav Bull.
6. Paul Dermée.
7. José Ferreira Junior Dias.

8. Edouard Dujardin.
9. Jules Flandrin.
10. Guy-Félix Fontenaille.
11. Isugouharu Foujita.
12. Gabriel Fournier.
13. Charles Fraeuly.
14. André François.
15. Emile Othon Friesz.
16. Marcel Gaillard.
17. Antoinette de Gaspary.
18. Joséphine Gérente.
19. Albert Gleizes.
20. Emmanuel Gondouin.
21. Juan Gris.
22. Henri Hayden.
23. Paul Husson.
24. Gustave Kahn.
25. Kharis.
26. Moïse Kisling.
27. Celso Lagav.
28. Sébastien-Charles Leconte.

29. Fernand-Léger.
30. Marcel-Lenoir.
31. Raphaël Lozano.
32. Henri-Matisse.
33. F. T. Marinetti.
34. Alexandre Mercereau.
35. Jean Metzinger.
36. Emile Oribe.
37. Francis Picabia.
38. Georges Polti.
39. Jehan Rictus.
40. Victor Roseblum.
41. André Salmon.
42. Léopold Survage.
43. Georges Clément de Swié-  
cinsky.
44. Marc Marie Ludovic Taloff.
45. Maurice de Vlaminck.
46. Henri de Waroquier.
47. Osip Zadkine.
48. Antoine Pierre Gallien.

Приглашение на выставку А. Глеза и  
А.-П. Гальена в галерею Поволоцкого,  
Париж, апрель 1921 год.

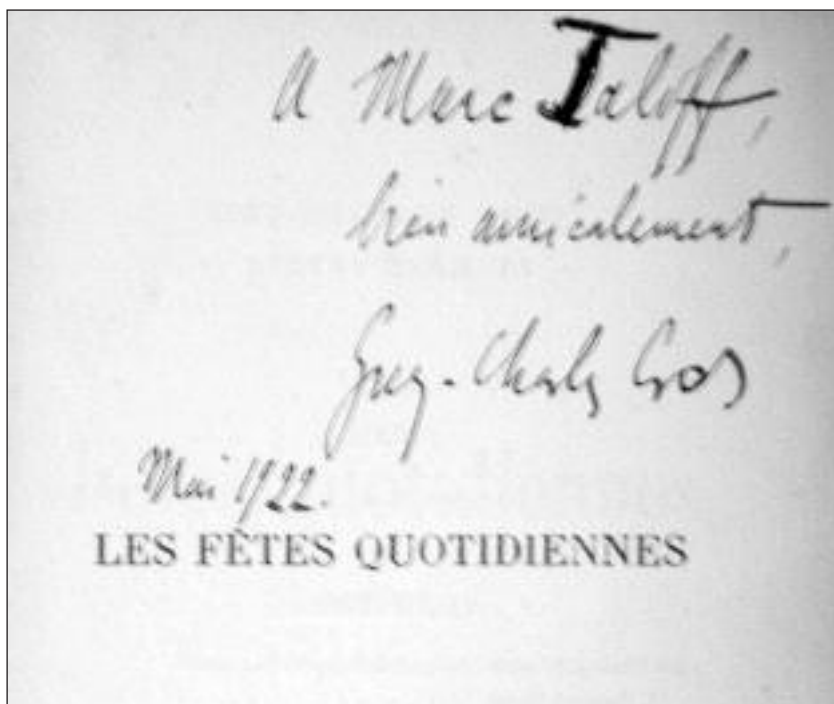
Под №44 – портрет М.-Л. Талова работы Гальена.

à Marc Talov  
самые чудачные  
человек  
Blaise Sandrar  
1<sup>er</sup> mai 1922.

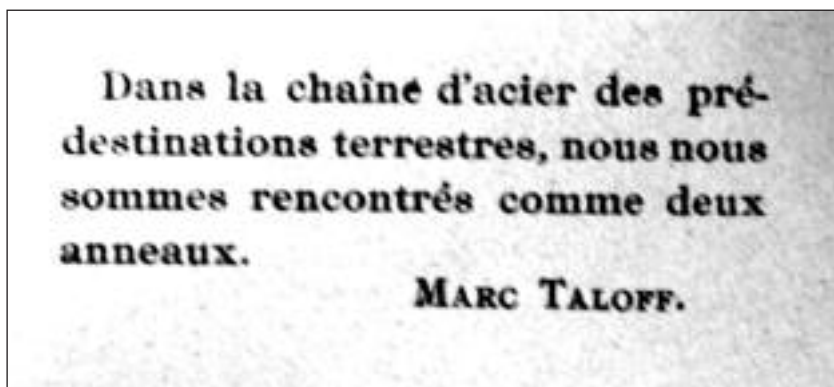
Надпись Блеза Сандрара на книге  
«Девятнадцать эластичных поэм»,  
Париж, 1919г.: «Марку Талову самы чудачная человек.  
Блез Сандрар 1-го май 1922 г.».  
Б. Сандрар изучал русский язык,  
любил петь русские песни, бывал в России.

A Marc Ludovic Taloff  
lorsqu'on tourne le dos à cette  
plaine on aperçoit de vastes  
incendies.  
Bien cordialement  
André Breton.  
18 avril 1922

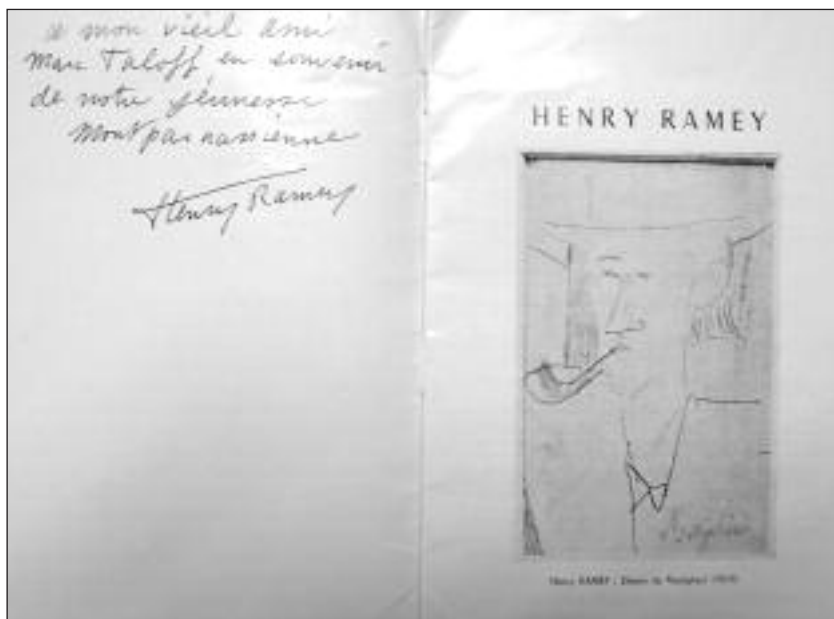
Надпись на книге Андре Бретона и Филиппа Супо  
«Магнитные поля», Париж, 1920 г.: «Марку-Людовику Талову.  
Когда поворачиваешься спиной к этому полю,  
видишь огромные пожарища. Весьма сердечно – Андре  
Бретон. 18 апреля 1922 г.».



Надпись Ги-Шарля Кро на книге «Ежедневные праздники»,  
Париж, 1912г.: «Марку Талову очень дружески,  
Ги-Шарль Кро май 1922».

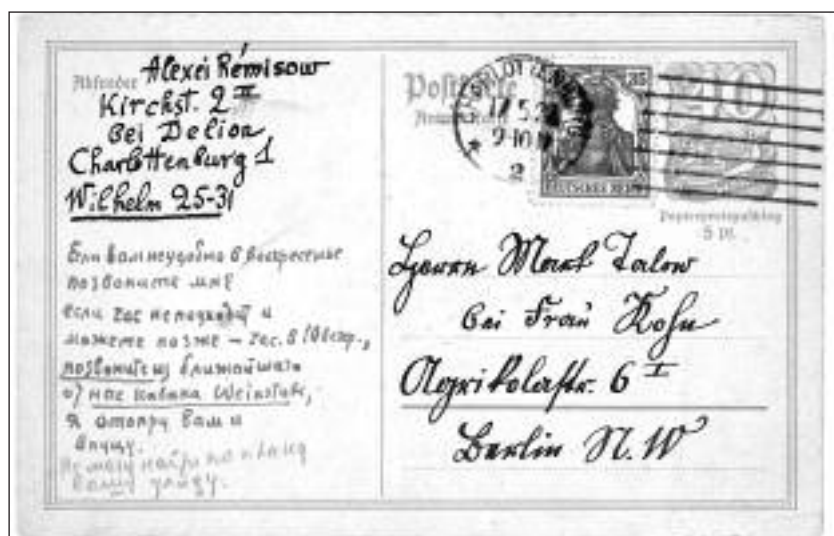


Строки из стихотворения М. Талова  
«В стальной цепи земных предначертаний...»  
(книга «Двойное бытие») взяты Антуаном Орлиаком как  
эпиграф к книге «Духовное бегство», Париж, 1921 г.



Надпись Анри Раменя на каталоге его юбилейной выставки (Париж, 1965 г.): «Моему старому другу Марку Талову в память о нашей молодости на Монпарнасе».





А.М. Ремизов – М. Талову.  
 Открытка, Берлин, 17.05.22

Уважаемый товарищ!  
Александрович: Я должен был прийти  
и никак не могу вас предупредить:  
письмо ваше получено. Вечером в 7 часов  
пришла в воскресенье в 6 часов  
мужа один поцелуй. Спасибо.  
Александрович

1992

Записка А. М. Ремизова М. Талову, Берлин.

Хорошо!  
Францискович!

позвольте вам представить  
марка Владимировича Павлова  
он из Мюнхена

францискович, но павл и  
петер. в нашем  
физическом мире

обратите внимание  
на его стихи,  
он вам их дал

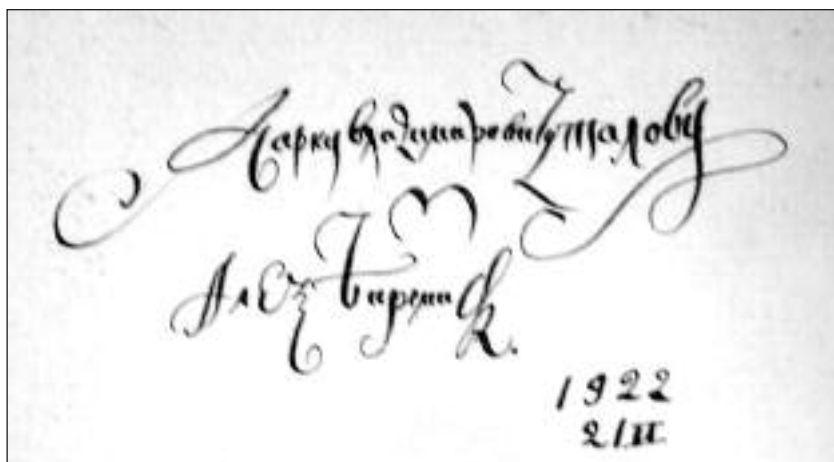
А. М. Ремизов

11 VI 1922  
г. Георгий

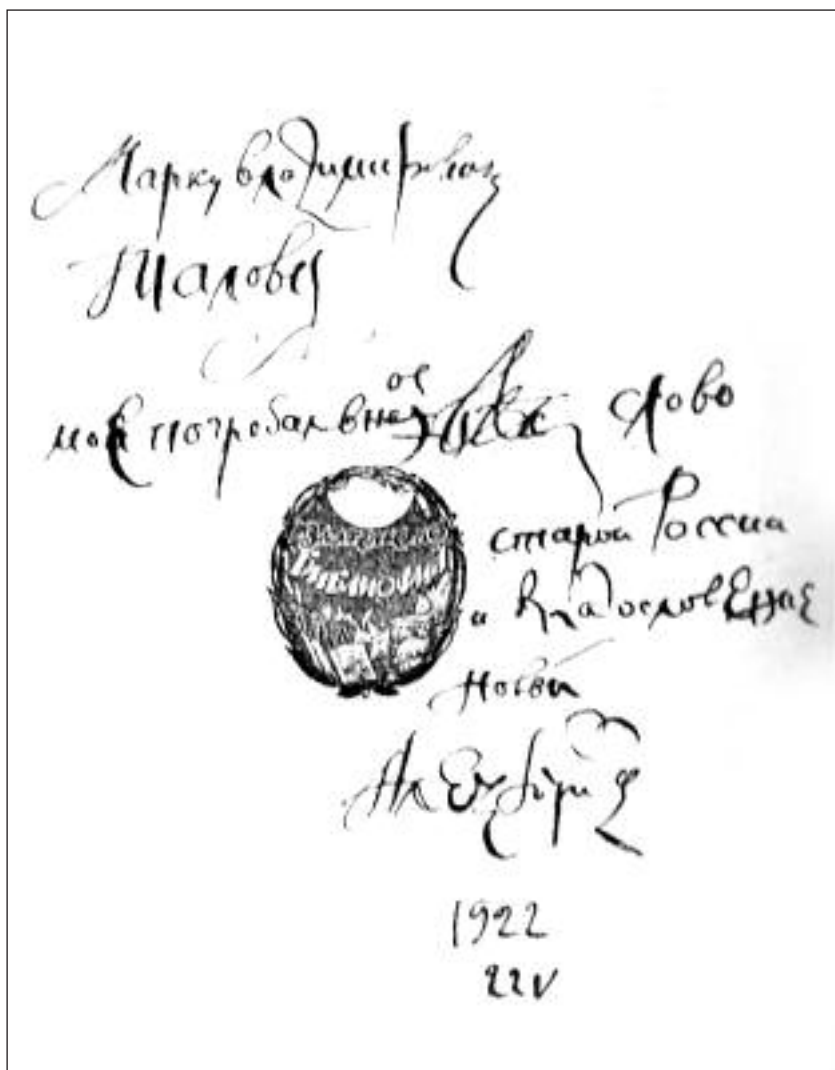
Записка А.М. Ремизова Андрею Белому, Берлин.



Надпись А.М. Ремизова на книге  
«Шумы города», Ревель, 1921 г.



Надпись А.М. Ремизова на книге  
«Россия в письменах» том 1, «Геликон»,  
Москва – Берлин, 1922 г.



Надпись А.М. Ремизова на книге «Огненная Россия»,  
Ревель, 1921г.

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВЪ  
КРАШЕННЫЯ РЫЛА

Александрову  
Палову  
Александрову

о театре русском 1918-1921  
параметры

Надпись А.М. Ремизова на книге «Крашенныя рыла.  
Театр и книга», «Грани», Берлин, 1922 г.

Марку Владимировичу Сталову  
1922 г. 22



о 2-й  
24 ш.  
Заревой

Надпись А. М. Ремизова на книге «В поле блакитном»,  
«Огоньки», Берлин, 1922 г.

Аархувадуну  
Малову  
22 v 1922  
Книга о божестве

Надпись А. М. Ремизова на книге  
«Трава-мурава. Сказ и величание».  
Издательство «С. Ефрон в Берлине».

Р. Игорь Иванович  
Ивановича Ивану Ивановичу  
и. Игнатовичу и. Вережко. он Иван Иванович  
Иванов и Ресин.

Вен. Игорю Ивановичу



М. Талов,  
парижский период.



Э.С. Талова,  
урожденная Ловенгардт.



М. Талов. На обороте:  
«Снимок сделан для Союза писателей. 21.05.42».



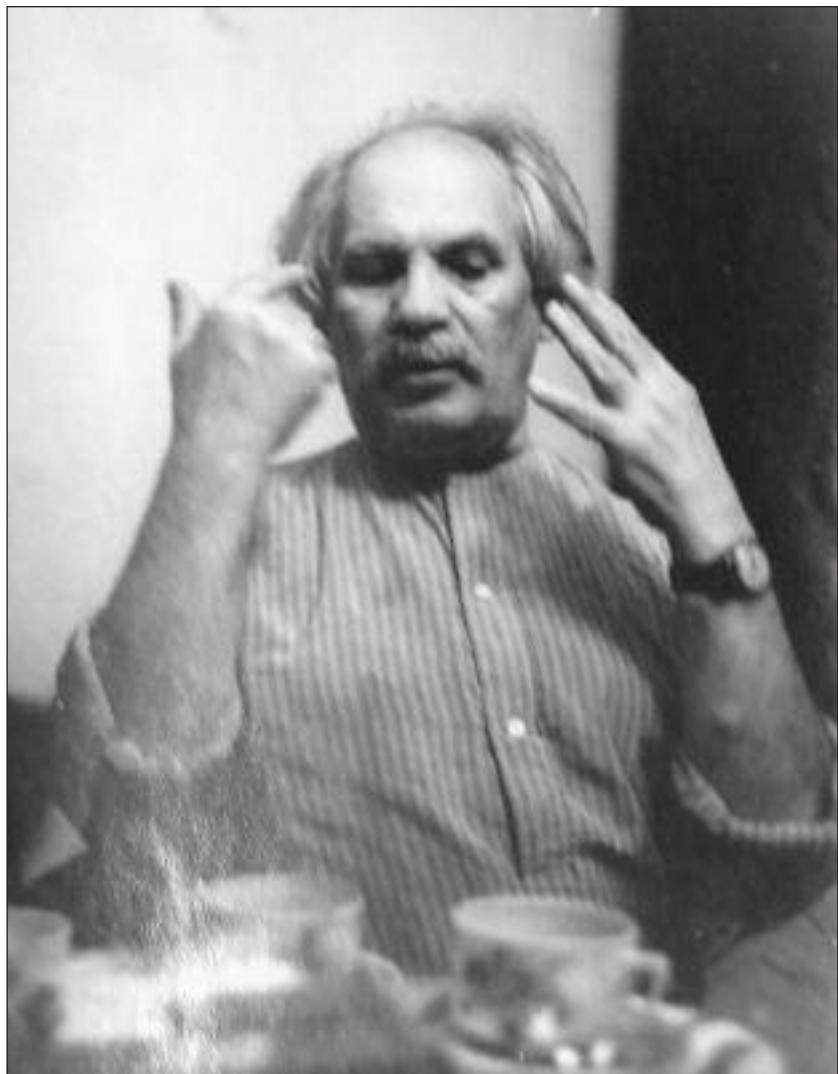
М. Талов,  
Москва, 1955г.



М.А. Талова, М.В. Талов, С.А. Поделков,  
Голицыно, 1962 г.



Татяна Марковна Талова.



Поэт читает стихи. Москва, 60-е годы.

Марк Владимирович Тамиль  
не знает о „галичской  
бюде“, —  
Москва 13  
14/31. О. Мандельштам

Надпись О. Мандельштама на книге  
«Стихотворения», М.-Л., 1928г.

Внучата, магаре:  
 — Не забравяй така как  
 — Момчето си сяднало в  
 У младостта си сак доноризация  
 Преди  
 И не криевай са к сонету  
 Лавонтиному некуция код  
 ОГРАДА

(у нас 1930 г.)

Марк Владимировичу  
 Милоу,

с поздравом и сестрицата

1938  $\frac{5}{11}$  у нас  
 у нас

Надпись В.А. Пяста на книге  
 «Ограда, книга стихов»,  
 издание «Т-ва Вольф», 1909 г.

Только лампада горитъ у безсонного  
ложка прекрасной,  
Желобы, пани, монгобы лёгкнй колоб-  
матъ огонь,  
Развѣ не токю ты взываше, поэтъ,  
въ одинокія ночи —  
Треще, темъ муза къ тебѣ песен-  
ный строй низведётъ.

Марку Владимировичу

Талову

на доброе воспоминаніе

Юрий Верховский

Надпись Юрия Верховского на книге «Идиллии и элегии»,  
издательство «Оры», СПб, 1910 г.

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

# ДЕРЕВО

СТИХИ 1938—1945 гг.

Марку Талку  
Друзьям

Илья Эренбург

2011-1948

Советский Писатель

Москва 1946

Похоти на брод без смысла.  
 Ты скажешь: предвексны!  
 Но полны, и сухие глаза  
 Знатоков не лишены.

Под тенью их — вояки военные!  
 Тирагическая тусклость  
 Своей находкой, предостереже  
 И в наши дни... Она крестна,

Она покаяна. Ты — не ружье,  
 Не иероглиф, только сажа!  
 Но только лопнуть сердца стружку,  
 Как маленький доводчик уша.

Тот плачет смехом, полным ада.  
 Другой — кровавою слезой,  
 А третий — губною взглядом,  
 Невыясненным, тёмным.

Читай же между строк, не споря:  
 Ты в тайны бытия проник.  
 О, головетского зора  
 Непотерянный ролик! Тирада, 2. II. 28. — 88. 19.

# АННА АХМАТОВА

## СТИХОТВОРЕНИЯ

(1909—1960)

*Марку Владимирову*

*Т.Т.Ильву*

*В мои московские дни*

*Анна Ахматова*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Москва 1961

*5 марта*

*1965*



М. Талов и С. Шаршун,  
Москва, 60-е годы.